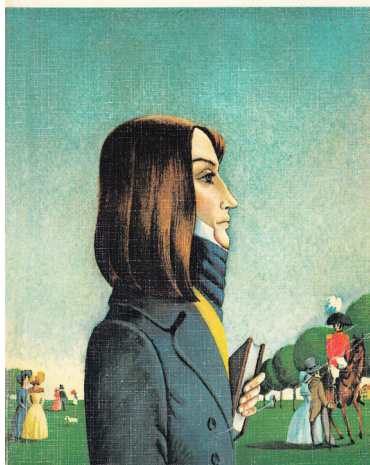


Стендаль

ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ



Фредерик Стендаль

Пармская обитель

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146681

Аннотация

«Пармская обитель» – второй после «Красного и черного» роман об эпохе Реставрации. Действие этого остросюжетного произведения, насыщенного сложными перипетиями политической борьбы и резкими поворотами в личных судьбах героев перенесено в Италию, столь любимую автором. Книга была высоко оценена Бальзаком, отметившим достоверность и психологическую глубину характеров; она прочно вошла в золотой фонд мировой реалистической классики.

Содержание

Предисловие автора	4
Часть первая	5
I	5
II	13
III	24
IV	34
V	45
VI	57
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Стендаль

Пармская обитель

Предисловие автора

Повесть эта написана зимой 1830 года, в трехстах лье от Парижа; поэтому в ней и нет ни единого намека на события текущего, 1839 года.

За много лет до того, в те времена, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, очаровательном итальянском городе. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями.

В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой; они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника велел принести из кофейни Педротти превосходного *zambaione*¹. Засиделись мы главным образом из-за того, что слушали историю герцогини Сансеверина: кто-то из гостей упомянул о ней, а хозяин ради меня рассказал ее всю полностью.

– В той стране, куда я еду, – сказал я своим друзьям, – не найти такого общества, как у вас, и, чтобы скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть.

– В таком случае, – сказал племянник каноника, – я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при пармском дворе, происходивших в те времена, когда там полновластно царила герцогиня. Но берегитесь! Эту историю трудно назвать назидательной, и теперь, когда у вас во Франции мода на евангельскую непорочность, она может создать вам славу настоящего убийцы.

Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.

Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня – итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодушны и небоязливы, говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь временами, но тогда оно становится страстью, именуемой *puntiglio*². И, наконец, они не смеются над бедностью.

Вторая неприятность касается автора.

Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров, но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем наделять их высокой нравственностью и обаятельными качествами наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, являются почти полной их противоположностью. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радужная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.

23 января 1839 года.

¹ Гоголь-моголь (*um.*).

² Вопрос чести (*um.*).

Часть первая

*Già mi fur dolci inviti a empir le carte
I luoghi ameni.
Ariosmo, Sat. IV³*

I

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая перешла через мост у Лоди, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, свидетельницей которых стала Италия, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, – так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходявшая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины. А став *верноподданными*, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе постоянного поклонника, – иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные неожиданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года целый народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия» и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, – совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозой, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.

В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, которые охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Свобода нравов достигла крайних пределов, но страсти были явлением редким. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом гибели даже в здешнем, земном мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии, мелкими, но довольно докучными. Так, например,

³ Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем. *Ariosmo, IV сатира (ит.)*.

эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом – торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. Художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови рекой потекла пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем неизвестно в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь с него сделали гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался в армии самым старым человеком. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы – изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы; недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший играть на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены; зато итальянки научили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по возможности расквартировали по богатым домам: им очень нужен был отдых. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, человек молодой и довольно бойкого нрава, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще эта часть одежды так кстати не приходилась человеку. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расплзлось ключьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также подобранной на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были привязаны к башмакам весьма заметными веревочками, и когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откусать с маркизой дель Донго, бедняга до смерти смутился. Вместе со своим вестовым он провел два часа, остававшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного почи-

нить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец страшная минута настала.

«Еще никогда в жизни я не был так смущен, – говорил мне лейтенант Робер. – Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, – добавил он, – была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела «Иродиада» Леонардо да Винчи, – казалось, это был ее портрет. По счастью, эта сверхъестественная красота так поразила меня, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в крепкие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза в тот день – для храбрости, как она сто раз мне потом объясняла, – взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго; впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни испытаний.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид – все восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпение и досаду. Словом, я был в глупейшем положении: я должен был сносить презрительные взгляды – вещь для француза невозможная. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы пострадали за два года в генуэзских горах, где нас держали старые дураки генералы. Там давали нам, говорил я, три унции хлеба в день, а жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не проговорил я и двух минут, как у доброй маркизы уже заблестели на глазах слезы, и Джина тоже стала серьезной.

– Как, господин лейтенант? – переспросила она. – Три унции хлеба?

– Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не выдавали, и так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.

Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, свое единственное шестифранковое эцю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

Неделю спустя, – продолжал свой рассказ лейтенант Робер, – когда стало совершенно ясно, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо, из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равна его трусости, то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».

История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих храбрецов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора неожиданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого соображения: этот народ скучал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвение всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старые нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции на нужды французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной такого ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. В былые времена замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, большую часть которого можно видеть из окон. Это был родовый замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; там сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда, уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотой в восемьдесят футов и толщиной в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью – тридцатью лакеями, которых считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их бранью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали *casa del Dongo*⁴, как говорят в Италии, и стараться уменьшить их, что вынуждало ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также с лицами незнатными, но весьма влиятельными. Между тем в семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и родовитого, но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок – вышла замуж за графа Пьетранеру. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей.

⁴ Дом дель Донго (*ит.*).

Пьетранера был суб-лейтенантом Итальянского легиона, что усугубляло негодование маркиза.

Прошло два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория, стараясь придать себе вид прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бездарные генералы, поставленные ею во главе Итальянской армии, проигрывали битву за битвой на тех самых веронских равнинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонато. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией на простой телеге.

Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев), потому что, на их счастье, этот возврат к мракобесию действительно продлился только тринадцать месяцев – до сражения при Маренго. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамелюками – участь, заслуженная им по многим причинам.

Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз дель Донго. Крайне реакционные взгляды маркиза, вполне естественно, поставили его во главе его партии. Члены этой партии, люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Этот генерал, человек довольно благодушный, поддавшись их уговорам, решил, что суровость – самая искусная политика, и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии.

Вскоре их сослали в бухты Каттаро, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное, голод быстро расправились с этими «негодьями».

Маркиз дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаредность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетранера: она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, вместе с ним умирала с голоду во Франции. Добрая маркиза дель Донго была в отчаянии; наконец ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который супруг отбирал у нее каждый вечер и запирали в кованный сундук, стоявший под его кроватью; маркиза принесла мужу в приданое восемьсот тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы восемьдесят франков. Все тринадцать месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги.

Признаемся, что, по примеру многих серьезных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге не кто иной, как Фабрицио Вальсерра marchesino⁵ дель Донго, как говорят в Милане. Он дал себе труд родиться как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном г-на маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредель-

⁵ Произносится «маркезино». По местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза, «континно» – сыновьям графа, «контессина» – дочерям графа и т. д. – *Примеч. автора.*

ная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового состояния дель Донго являлся старший сын маркиза, Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио – два года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, неожиданно перешел Сенбернарский перевал и вступил в Милан – еще один исключительный момент в истории: вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Опыянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести: этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие в бухтах Каттаро патриоты; возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, исхудалые узники, с большими удивленными глазами, представляли собою разительный контраст с ликованием, гремевшим вокруг них. Для наиболее скомпрометированных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркиз дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после Маренго стали устраивать в Casa Tanzi. Через несколько дней после победы французский генерал, на которого была возложена обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе при Маренго, изменившей судьбу Италии и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей: все поглощены пророчеством святого Джовиты, главного покровителя города Брешии. Это вдохновенное прорицание гласило, что благоденствию Наполеона и французов настанет конец ровно через тринадцать недель после Маренго. В оправдание маркиза дель Донго и других злобствовавших владельцев поместий надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через тринадцать недель, но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва плохо поняли предсказание святого покровителя Брешии; речь шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало.

Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта, среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и не учился ничему, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являвшемуся шедевром художников XVII века, – это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, неизменно разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась юному Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа позволение съездить в Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки; деньгами ее ссужала невестка, добрая графиня Пьетранера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения, вице-короля Италии.

Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольном изгнании, позволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умный мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность; она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в учении и получит к концу года награды. Вероятно, для того, чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии, были, однако, изгнаны из страны по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всемогущей придворной дамой. Он не подумал жаловаться на отлучки Фабрицио, и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетранера в сопровождении своего супруга, дивизионного гвардейского генерала, и пяти-шести сановных особ из свиты вице-короля посетила коллегия иезуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства.

Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарские офицеры, и он в двенадцать лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная изяществом своего племянника, попросила принца назначить его пажем, что означало бы примирение семейства дель Донго с новой властью. На следующий день графине понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости – согласия отца будущего пажа, но в согласии, несомненно, было бы отказано, и очень бурно. Выходка сестры всполошила фрондирующего маркиза дель Донго, и он под благовидным предлогом вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, прося прислать к ней племянника; письмо ее осталось без ответа.

Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в умении ездить верхом: граф Пьетранера, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады.

Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расставании с тетушкой и ее великолепными гостиницами, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперся в своем кабинете со старшим сыном, маркизино Асканьо: они сочиняли зашифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену; отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего законного преемника, как вести двойные счетные записи доходов, получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже с сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканьо для шифровки депеш, в пятнадцать – двадцать страниц каждая, которые посылал два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркиз воображал, что знакомит своих законных государей с внутренним положением Итальянского королевства, и, хотя это положение было совсем неизвестно ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему: маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, переходившего в другой гарнизон, и в своем доне-

сении венскому двору старался по крайней мере на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать, преглупые, отличались одним достоинством: они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту камергерский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного австрийского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши иначе как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху.

Маркиза пришла в восторг от миловидности своего младшего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу графу д'А***, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, она совершенно не могла. Расспросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством.

«Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно, нашел бы, что у него совсем нет образования, а ведь теперь нельзя выдвинуться без личных заслуг», – думала она.

Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицио: он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподаваемым ему иезуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая набожность мальчика испугала ее: «Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына». Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицио от этого лишь возросла.

Жизнь в замке, где сновало тридцать – сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами; все они были яркими приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, состоявшими при особе маркиза или старшего его сына. Главной темой насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы по примеру господ.

II

*...Когда нам Вesper тьмой застелет небосклон,
Смотрю я в небеса, грядущим увлечен:
В них пишет бог – путем понятных начертаний —
Уделы и судьбу живущих всех созданий.
Порой на смертного он снизойдет взглянуть
И, сжалившись, с небес ему укажет путь.
Светилами небес – своими письменами —
Предскажет радость, скорбь и все, что будет с нами.
Но люди – меж смертей и тяжких дел земных, —
Те знаменья презрев, не прочитают их.*

Ронсар⁶

Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, – говорил он, – погубили Италию». Он недоумевал, как согласовать этот священный ужас перед знанием с необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им у иезуитов. Самым безопасным он счел поручить аббату Бланесу, священнику гриантской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио латыни. Но для этого надо было, чтоб старик сам ее знал; он же относился к ней с презрением, и познания его в латинском языке ограничивались тем, что он вытвердил наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разъяснить их смысл своей пастве. Тем не менее аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе: он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джовиты, покровителя Брешии, исполнится вовсе не через тринадцать недель и даже не через тринадцать месяцев. Беседуя об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число *тринадцать* следует толковать в смысле, который весьма удивил бы многих, если бы только можно было все говорить без утайки (1813)!

Дело в том, что аббат Бланес, человек честный, поистине добродетельный и, по существу, неглупый, проводил все ночи на колокольне: он помешался на астрологии. Весь день он занимался вычислениями, устанавливая различные сочетания и взаимоположение звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением на небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом – подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империй и наступления революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади, – говорил он Фабрицио, – с тех пор как меня научили, что по-латински она называется equus?»

Крестьяне боялись аббата Бланеса, считая его великим колдуном; он не возражал против этого: страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата Бланеса, завидуя его влиянию на прихожан, ненавидели его; маркиз дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека столь низкого положения. Фабрицио боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа. Затем он поднимался на колокольню – это была большая честь, которой аббат Бланес никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, – говорил он Фабрицио, – то, пожалуй, будешь настоящим человеком».

⁶ Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник.

Раза два-три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех рискованных экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Каденабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят закидные удочки далеко от берега. К верхнему концу лесы у них привязана дощечка, обитая снизу пробкой, а на дощечке укреплена гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба, клюнув, дергает лесу.

Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные удочки, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодке за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности, – это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух «Ave Maria»⁷. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тотчас же вслед за молитвой, Фабрицио бывал озадачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось плодом его участия в астрологических занятиях аббата Бланеса, хотя он нисколько не верил предсказаниям своего друга. Сообразно прихотям юной фантазии Фабрицио, приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, товарищи мало-помалу привыкли слушаться его прорицаний; и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи и отправлялись по домам, в постель. Итак, аббат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке – астрологии, но, сам того не подозревая, внушил ему беспредельную веру в предзнаменования.

Маркиз понимал, что при первой же неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры, и поэтому ежегодно ко дню святой Анджелы, то есть к именинам графини Пьетранера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такой поездки, дозволяемой в важных политических целях, маркиз давал сыну четыре экю и, по обычаю своему, ничего не давал жене, всегда сопровождавшей Фабрицио. Но накануне поездки отправляли через город Комо повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркизы была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон.

Образ жизни злобствующего маркиза дель Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые решались вести его, основательно обогащались. У маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил и четверти этой суммы: он жил надеждами. Целых тринадцать лет, с 1800 по 1813 год, он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине. При вести о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть не сошел с ума; тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И наконец, после четырнадцати лет ожидания, ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению, полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза дель Донго с чрезвычайной учтивостью, граничившей с почтением; тотчас же ему предложили один из виднейших административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное

⁷ «Мария, дева, радуйся» (лат.).

ему звание кадета. Триумф, которым маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился лишь несколько месяцев, а за ним последовали унижительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было дарований государственного деятеля, а четырнадцать лет деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Между тем в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старинной монархии. Промахи маркиза дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ультрамонархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность помощника главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства. Маркиз был возмущен, счел себя жертвой жестокой несправедливости и даже напечатал «Письмо к другу», несмотря на то что яро ненавидел свободу печати. Наконец, он написал императору, что все его министры – предатели, ибо все они якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительное известие. После падения Наполеона стараниями могущественных в Милане людей на улице был убит граф Прина, бывший министр итальянского короля и человек весьма достойный. Граф Пьетранера, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетку церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в сточную канаву посреди улицы, но священник издевательски отказался открыть решетку, и за это маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение.

Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетранера, не имея даже пятидесяти луидоров годового дохода, осмеливался чувствовать себя довольным да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь, и дерзко проповедовал тот дух нелицеприятной справедливости, который маркиз называл мерзким якобинством. Граф отказался вступить в австрийскую армию; этот отказ получил должную оценку, и через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения генерала Пьетранеры в тюрьму. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и рассказать императору всю правду. Убийцы Прины струсили, и один из них, двоюродный брат г-жи Пьетранера, принес ей в полночь, за час до ее отъезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетранеру, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прины и заключением в тюрьму графа Пьетранеры.

После этой грозы, которую отвратила твердость характера графини Пьетранера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна.

К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также близким другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре Ла Скала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Както раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской респуб-

лики. Граф дал ему пощечину; тут же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, присутствовавшие при нем, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии.

То нелепое мужество, которое называют покорностью судьбе, – мужество глупцов, готовых беспрекословно дать себя повесить, – совсем не было свойственно графине Пьетранера. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование; она пожелала, чтобы Лимеркати – тот богатый молодой человек, который был ее другом, – тоже возымел фантазию отправиться в путешествие, разыскал в Швейцарии убийцу графа Пьетранеры и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной.

Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она удвоила внимание к Лимеркати: ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того чтобы французам был понятен такой план мщения, скажу, что в Ломбардии, стране довольно отдаленной от нашей, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетранера, даже в глубоком вдовьем трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н***, всегда говоривший, что Лимеркати немного тяжеловесен, немного мешковат для такой умной женщины, влюбился в нее до безумия. Тогда она написала Лимеркати.

*«Не можете ли Вы хоть раз в жизни поступить как умный человек?
Вообразите, что Вы никогда не были со мной знакомы.
Прошу принять уверения в некотором презрении к Вам.
Ваша покорная слуга
Джина Пьетранера».*

Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий; любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб, – намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Приехав в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей свою руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н***. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях; каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н*** она погубит себя, что такая связь ее позорит.

На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н*** и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н***, будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она сооблаговостила ему сообщить.

– Будьте милостивы, – добавил он, – принимайте меня, оказывая мне по-прежнему все те внешние знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда сумею сохранить подобающее место в свете.

После столь героического признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н***. Но за пятнадцать лет она привыкла к жизни самой роскошной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую, задачу: жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на шестом этаже, уволила всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой поденщицей. Такая жертва была, в сущности, менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам: в Милане над бедностью не смеются, а следовательно, она и не страшит,

как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности; ее постоянно бомбардировали письмами и Лимеркати и даже граф Н***, тоже мечтавший теперь жениться на ней; но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как! Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его!

Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго. Переменчивая душа Джини с восторгом приняла мысль о новом образе жизни; уже двадцать лет графиня не бывала в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой, – говорила она себе. – А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем? (Графине пошел тридцать второй год, и она полагала, что ей пора в отставку.) На берегу чудесного озера, где я родилась, я обрету наконец счастливую, мирную жизнь».

Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такою легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы не помнили себя от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости, – говорила, целуя ее, маркиза. – А накануне твоего приезда мне было сто лет!» Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками: виллу Мельци на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рошу Сфондрата, расположенную выше, по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава: один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Леко меж угрюмых скал, – все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире – Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. «На берегах Комо, – думала она, – нет того, что видишь вокруг Женевского озера: обширных полей, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон вздымаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в *статью дохода*. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегających к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо и Ариосто. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рошицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая, суровая картина, напоминая о пережитых горестях, усиливает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями, звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: «Жизнь коротка, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им».

То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность шестнадцатилетней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. «Неужели, – думала она, – счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку; Фабрицио, маркиза и сама г-жа

Пьетранера собственными руками украсили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь: со времени своей опалы маркиз дель Донго ничего не шадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в десять шагов шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал воздвигнуть плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков.

Старший брат Фабрицио, маркезино Асканьо, попытался было принимать участие в прогулках дам, но тетка брызгала водой на его пудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки.

Асканьо поклялся отомстить Фабрицио.

Однажды поднялась буря, и лодка едва не перевернулась; хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу: он и без того был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю, – на этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны: из двух горных ущелий, находящихся на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера; она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище: она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта. Выпрыгнув из лодки, она упала в воду, Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня страстно увлеклась простодушным характером старика Бланеса и его астрологией. Деньги, оставшиеся у нее после покупки лодки, ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа; и почти каждый вечер графиня, взяв с собою племянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио в этой компании выпадала роль ученого, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов.

Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день она смеялась по-прежнему; обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетования маркизы, ее невестки.

– Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке? – восклицала маркиза.

До приезда графини у нее не доставало смелости даже подумать об этом.

Так прошли зимние месяцы 1814–1815 года. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан: нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано, которые давали в театре Ла Скала, и маркиз не запрещал жене сопровождать золовку. В Милане бедная вдова генерала Цизальпинской республики, получив пенсию за три месяца, давала богатейшей маркизе дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны; дамы приглашали к обеду старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, помогала им

забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома.

7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул один из доверенных людей маркиза: Наполеон только что высадился в бухте Жуан. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно нисколько не поразило; он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов и еще раз заявил, что министры его величества – якобинцы, орудующие заодно с парижскими смутьянами.

8 марта, в 6 часов утра, маркиз, надев камергерский мундир со всеми орденами, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио велел доложить о себе графине Пьетранера.

– Я уезжаю, – сказал он. – Я хочу присоединиться к императору – ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу! Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью в Менаджо мой друг Вази, тот, что торгует барометрами, дал мне свой паспорт; дай мне несколько наполеондоров: у меня их всего два, – но если понадобится, я пойду пешком.

Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги.

– Боже мой! Как тебе пришла в голову такая мысль? – воскликнула она, сжимая руки Фабрицио.

Она встала с постели и вынула из бельевого шкафа тщательно запрятанный там кошелек, вышитый бисером, – в нем лежало все ее богатство.

– Возьми, – сказала она Фабрицио. – Но, ради бога, береги себя. Что будет с твоей несчастной матерью и со мной, если тебя убьют? А надеяться на успех Наполеона невозможно, бедный дружок мой: эти господа сумеют его погубить. Разве ты не слышал в Милане неделю тому назад рассказ о том, как его двадцать три раза пытались убить? Эти покушения были так хорошо обдуманы, что он уцелел только чудом. А ведь тогда он был всемогущ. Ты же знаешь, что наши враги только о том и думают, как бы избавиться от него. Франция впала в ничтожество после его изгнания.

Графиня говорила об участии, ожидавшей Наполеона, с глубоким волнением.

– Позволяя тебе отправиться к нему, я приношу ему в жертву самое дорогое для меня существо на свете, – сказала она.

Глаза Фабрицио наполнились слезами, он заплакал, обнимая графиню, но воля его ни на минуту не поколебалась. Он с горячностью изложил своему дорогому другу все причины, побудившие его принять такое решение; мы позволим себе смелость признать их весьма забавными.

– Вчера вечером, в шесть часов без семи минут, мы, как ты помнишь, прогуливались по платановой аллее на берегу озера, под Каза Соммарива, и шли по направлению к югу. Как раз в это время я заметил вдалеке ту лодку, что плыла со стороны Комо и везла нам великую весть. Я смотрел на лодку, совсем не думая об императоре, только завидовал судьбе тех людей, которые могут путешествовать, и вдруг я почувствовал глубокое волнение. Лодка причалила, агент отца что-то тихо сказал ему, отец вдруг побледнел, отвел нас в сторону и сообщил нам ужасную новость. Я отвернулся и стал смотреть на озеро только для того, чтобы скрыть слезы радости, хлынувшие из моих глаз. И вдруг на огромной высоте – и

притом с правой стороны – я увидел орла, птицу Наполеона; орел величественно летел по направлению к Швейцарии, а значит, к Парижу. И я сейчас же сказал себе: «Я тоже пересеку Швейцарию с быстротою орла, я присоединюсь к этому великому человеку и принесу ему то небольшое, что могу дать ему, – поддержку моей слабой руки. Он хотел дать нам родину, он любил моего дядю!» Когда орел еще не совсем скрылся из виду, у меня вдруг почему-то высохли слезы, и вот тебе доказательство, что эта мысль была ниспослана мне свыше: лишь только я безотчетно принял решение, в тот же миг я увидел, какими способами можно осуществить его. И мгновенно вся печаль, которая, ты знаешь это, отравляет мне жизнь, особенно в воскресные дни, исчезла, словно ее развеяло дыхание божества. Перед моими глазами встал великий образ: Италия поднимается из того болота, в которое погрузили ее немцы; она простирает свои израненные руки, еще окованные цепями, к своему королю и освободителю⁸. И я сказал себе мысленно: «Я, доселе безвестный сын нашей многострадальной матери, пойду, чтобы победить или умереть вместе с человеком, отмеченным судьбою и пожелавшим смыть с нас презрение, с которым смотрят на нас даже самые подлые, самые поработанные обитатели Европы».

Помнишь, – тихо добавил он, подойдя к графине и глядя на нее сверкающим взглядом, – помнишь тот каштан, который в год моего рождения матушка своими руками посадила ранней весной в нашем лесу на берегу ручья, в двух лье от Грианты? Так вот, прежде чем приступить к каким-либо действиям, я пошел посмотреть на свое дерево. «Весна, – подумал я, – началась еще совсем недавно, и если на нем уже есть листья, – это хороший знак для меня». Я тоже должен стряхнуть с себя оцепенение, в котором томлюсь здесь, в этом унылом и холодном замке. Не кажется ли тебе, что эти старые, почерневшие стены, некогда служившие орудием деспотизма и оставшиеся символом его, – очень верный образ угрюмой зимы? Для меня они то же, что зима для моего дерева.

Вчера вечером, в половине восьмого, я пришел к каштану, и – поверишь ли, Джина? – на нем были листья, красивые зеленые листочки, уже довольно большие! Я целовал листочки тихонько, стараясь не повредить им. Потом осторожно вскопал землю вокруг моего милого дерева. И тотчас же, снова преисполнившись восторга, я пошел горной тропинкой в Менаджо: ведь мне нужен паспорт, чтобы пробраться через границу в Швейцарию. Время летело, был уже час ночи, когда я подошел к дверям Вази. Я думал, что мне придется долго стучаться, чтобы его разбудить. Но он не спал, он беседовал с тремя друзьями. При первых же моих словах он бросился обнимать меня и вскричал: «Ты хочешь присоединиться к Наполеону!» И друзья его тоже горячо обнимали меня. Один из них говорил: «Ах, зачем я женат!»

Госпожа Пьетранера задумалась; она считала своим долгом выставить какие-нибудь возражения. Будь у Фабрицио хоть самый малый опыт, он прекрасно понял бы, что графиня сама не верит благоразумным доводам, которые спешит привести. Но взамен опыта он обладал решительным характером и даже не удостоил выслушать эти доводы. Вскоре графине пришлось ограничиться просьбами, чтобы он сообщил о своем намерении матери.

– Она расскажет сестрам, и эти женщины, сами того не ведая, выдадут меня! – воскликнул Фабрицио с каким-то высокомерным презрением.

– Говорите, сударь, о женщинах более уважительно, – сказала графиня, улыбаясь сквозь слезы. – Ведь только женский пол поможет вам достичь чего-нибудь в жизни; мужчинам вы никогда не будете нравиться: в вас слишком много огня, – это раздражает прозаические души.

Узнав о неожиданных замыслах сына, маркиза заплакала; она не почувствовала, сколь они героичны, и сделала все возможное, чтобы удержать его дома. Но, убедившись, что никакие препятствия, кроме тюремных стен, не помешают Фабрицио уехать, она отдала ему все

⁸ Эти патетические слова передают прозой строфы стихов знаменитого Монти. – *Примеч. автора.*

деньги, какие у нее были, – очень скромную сумму; потом вспомнила, что накануне маркиз доверил ей восемь или десять бриллиантов, стоивших около десяти тысяч франков, поручив заказать для них оправу в Милане. Когда графиня зашивала бриллианты в подкладку дорожного костюма нашего героя, в комнату матери пришли его сестры; он вернул бедняжкам их скудные сбережения. Замысел Фабрицио вызвал у сестер такой бурный восторг, они с такой шумной радостью бросились целовать его, что он схватил те бриллианты, которые еще не были зашиты в подкладку, и решил без промедления отправиться в путь.

– Вы невольно выдадите меня, – сказал он сестрам. – Раз у меня теперь так много денег, незачем брать с собою всякие тряпки: их повсюду можно купить.

Он обнял на прощание своих близких и милых сердцу и тотчас пустился в путь, даже не заглянув к себе в комнату. Боясь, что за ним пошлют в погоню верховых, он шел так быстро, что в тот же вечер достиг Лугано. Слава богу! Он уже в Швейцарии. Теперь нечего бояться, что на пустынных дорогах его схватят жандармы, подкупленные его отцом. Из Лугано он написал отцу красноречивое письмо – ребяческая слабость, письмо это только распалило гнев маркиза. Затем он перебрался на почтовых через Сенготардский перевал; он ехал быстро и вскоре пересек французскую границу у Понтарлье. Император был в Париже. Но тут начались злоключения Фабрицио. Он уехал с твердым намерением лично поговорить с императором; никогда ему не приходило в голову, что это нелегко осуществить. В Милане он раз десять на дню видел принца Евгения и, если б захотел, мог бы заговорить с ним. В Париже он каждое утро бегал во двор Тюильри, видел, как Наполеон делал смотр войскам, но ему ни разу не удалось приблизиться к императору. Герой наш воображал, что всех французов, так же как его самого, глубоко волнует крайняя опасность, угрожающая их родине. Обедая за общим столом в той гостинице, где он остановился, Фабрицио открыто говорил о своих намерениях и своей преданности Наполеону. Среди сотрапезников он встретил чрезвычайно приятных и обходительных молодых людей, еще более восторженных, чем он, и за несколько дней очень ловко выманивших у него все деньги. К счастью, он из скромности никому не рассказывал о бриллиантах, которые дала ему мать. Как-то утром, после ночного кутежа, он обнаружил, что его обокрали; тогда он купил двух прекрасных лошадей, нанял слугу – отставного солдата, служившего конюхом у барышника, – и с мрачным презрением к молодым парижанам-краснобаям отправился в армию. Он ничего не знал о ней, кроме того, что войска стягиваются к Мобежу. Но, прибыв на границу, он счел смешным устроиться в каком-нибудь доме и греться у камелька, когда солдаты стоят на бивуаках. Как его ни отговаривал слуга, человек, не лишенный здравого смысла, Фабрицио безрассудно отправился на бивуаки, находившиеся у самой границы, на дороге в Бельгию.

Едва только он подошел к ближайшему от дороги батальону, солдаты уставились на него, находя, что в одежде этого молоденького буржуа нет ничего военного. Смеркалось, дул холодный ветер. Фабрицио подошел к одному из костров и попросил разрешения погреться, пообещав заплатить за гостеприимство. Солдаты переглянулись, удивляясь его намерению заплатить, но благодушно подвинулись и дали ему место у костра. Слуга помог Фабрицио устроить заслон от ветра. Но час спустя, когда мимо бивуака проходил полковой писарь, солдаты остановили его и рассказали, что к ним заявился какой-то человек в штатском и что он плохо говорит по-французски. Писарь допросил Фабрицио, тот принялся говорить о своей восторженной любви к Наполеону, но изъяснялся он с подозрительным иностранным акцентом, и писарь предложил пришельцу отправиться с ним к полковнику, помещавшемуся на соседней ферме. Подошел слуга Фабрицио, ведя в поводу двух лошадей. Увидев их, писарь явно изумился и, мгновенно переменяя намерение, стал расспрашивать слугу. Отставной солдат, сразу разгадав стратегию своего собеседника, заговорил о высоких покровителях, якобы имевшихся у его хозяина, и добавил, что, конечно, никто не посмеет *подтибрить* его прекрасных лошадей. Тотчас же писарь кликнул солдат, – один схватил слугу за шиворот,

другой взял на себя заботу о лошадях, а писарь сурово приказал Фабрицио без разговоров следовать за ним.

Заставив Фабрицио пройти пешком целое лье в темноте, которая казалась еще гуще от бивуачных костров, со всех сторон озарявших горизонт, писарь привел его к жандармскому офицеру, и тот строгим тоном потребовал у него документы. Фабрицио показал паспорт, где он именовался купцом, торгующим барометрами и получившим подорожную на провоз своего товара.

– Ну и дураки! – воскликнул офицер. – Право, это уж слишком глупо!

Он стал допрашивать нашего героя; тот с величайшей восторженностью заговорил об императоре, о свободе, но офицер расхохотался.

– Черт побери! Не очень-то ты хитер! – воскликнул он. – Верно, совсем уж нас олухами считают, раз подсылают к нам таких желторотых птенцов, как ты!

И как ни бился Фабрицио, как ни лез из кожи вон, стараясь объяснить, что он и в самом деле не купец, торгующий барометрами, жандармский офицер отправил его под конвоем в тюрьму соседнего городка Б..., куда наш герой добрался только в третьем часу ночи, вне себя от возмущения и еле живой от усталости.

В этой жалкой тюрьме Фабрицио провел тридцать три долгих дня, сначала удивляясь, затем негодуя, а главное, совсем не понимая, почему с ним так поступили. Он писал коменданту города письмо за письмом, и жена смотрителя тюрьмы, красивая фламандка лет тридцати шести, взяла на себя труд передавать их по назначению. Но так как она вовсе не хотела, чтобы такого красивого юношу расстреляли, и не забывала, что он хорошо платит, то все его письма неизменно попадали в печку. В поздние вечерние часы она приходила к узнику и сочувственно выслушивала его сетования. Мужу она сказала, что у молокососа есть деньги, и рассудительный тюремщик предоставил ей полную свободу действий. Она воспользовалась этой снисходительностью и получила от Фабрицио несколько золотых, – писарь отобрал у него только лошадей, а жандармский офицер не конфисковал ничего. Однажды в июне Фабрицио услышал среди дня очень сильную, но отдаленную канонаду. «Наконец-то! Началось!» Сердце Фабрицио заколотилось от нетерпения. С улицы тоже доносился сильный шум, – действительно, началось большое передвижение войск, и через Б... проходили три дивизии. Около одиннадцати часов вечера, когда супруга смотрителя пришла разделить с Фабрицио его горести, он встретил ее еще любезнее, чем обычно, а затем, взяв ее руку, сказал:

– Помогите мне выбраться отсюда. Клянусь честью, я вернусь в тюрьму, как только кончится сражение.

– Вот ерунду говоришь! А *подмазка* у тебя есть?

Фабрицио встревожился, он не понял, что такое *подмазка*. Тюремщица, заметив его беспокойство, решила, что он на мели, и, вместо того чтобы заговорить о золотых наполеондорах, как сперва намеревалась, стала говорить уже только о франках.

– Послушай, – сказала она. – Если ты можешь дать мне сотню франков, я парочкой двойных наполеондоров закрою глаза капралу, который придет ночью сменять часовых, – ну, он и не увидит, как ты удерешь. Если его полк должен выступить завтра, он, понятно, согласится.

Сделка была заключена. Тюремщица даже предложила спрятать Фабрицио в своей спальне, – оттуда ему проще убежать утром.

Рано утром, еще до рассвета, она в нежном умилении сказала Фабрицио:

– Миленький, ты слишком молод для такого пакостного дела. Послушайся меня, – брось ты это!

– Но почему? – твердил Фабрицио. – Разве это преступление – защищать родину?

– Будет врать-то! Никогда не забывай, что я спасла тебе жизнь. Дело твое ясное, тебя наверняка расстреляли бы. Но только никому не проговорись, а то из-за тебя мы с мужем место потеряем. И, знаешь, не повторяй больше никому дурацкой басни, будто ты миланский дворянин, переодетый в платье купца, который торгует барометрами, – это уж совсем глупо. Ну, а теперь слушай хорошенько. Я сейчас дам тебе все обмундирование того гусара, что умер у нас в тюрьме позавчера. Старайся поменьше говорить, а уж если какой-нибудь вахмистр или офицер привяжется, станет допрашивать, откуда ты явился, и тебе придется отвечать, – скажи, что ты был болен и лежал в крестьянском доме, что крестьянин, мол, из жалости подобрал тебя, когда ты трясся от лихорадки в придорожной канаве. Если тебе не поверят, прибавь, что ты догоняешь свой полк. Тебя все-таки могут арестовать, потому что выговор у тебя не французский, – так ты скажи, будто ты родом из Пьемонта, взят по рекрутскому набору, остался в прошлом году во Франции, – ну, еще что-нибудь придумай.

Впервые после тридцати трех дней бурного негодования Фабрицио разгадал причину своих злоключений. Его считали шпионом! Он принялся убеждать тюремщицу, которая в то утро была очень нежна, и пока она, вооружившись иголкой, ушивала гусарское обмундирование, слишком широкое для Фабрицио, он очень вразумительно рассказал этой женщине свою историю. Она слушала с удивлением, но на минуту поверила, – у него был такой простодушный вид, и гусарский мундир был так ему к лицу!

– Ну, раз тебе уж очень захотелось воевать, – сказала она, наполовину убежденная в его искренности, – надо было в Париже поступить в какой-нибудь полк. Угостил бы вахмистра в кабачке, он бы тебе все и устроил.

Тюремщица дала Фабрицио много полезных советов, как вести себя в будущем, и, наконец, когда забрезжил день, выпустила его на улицу, тысячу раз заставив поклясться, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не упомянет ее имени.

Едва Фабрицио, подхватив под мышку гусарскую саблю, вышел бодрым шагом из этого маленького городка, его одолели сомнения. «Ну вот, – думал он, – я иду в мундире и с подорожной какого-то гусара, умершего в тюрьме. А его, говорят, посадили за то, что он украл корову и несколько серебряных столовых приборов. Я, так сказать, унаследовал его личность, хотя этого нисколько не хотел и никак не предвидел. Значит, берегись тюрьмы!.. Примета совершенно ясная: мне придется долго страдать в тюрьме».

Не прошло и часа после разлуки Фабрицио с его благодетельницей, как полил дождь, и такой сильный, что новоявленный гусар еле вытаскивал из грязи ноги в грубых сапогах, которые были ему велики. Встретив крестьянина, ехавшего верхом на дрянной лошаденке, он купил у него эту клячу, объясняясь знаками, ибо помнил, что тюремщица советовала ему говорить как можно меньше из-за его иностранного акцента.

В тот день армия, выиграв сражение при Линьи, маршем двигалась на Брюссель; это был канун сражения при Ватерлоо. Около полудня, проезжая под нестихавшим проливным дождем, Фабрицио слышал грохот пушек. От радости он мгновенно позабыл долгие и мучительные минуты отчаяния, пережитые в незаслуженном заточении. Он ехал до поздней ночи и, так как у него уже появились зачатки благоразумия, решил остановиться на ночлег в крестьянском домике, стоявшем очень далеко от дороги. Хозяин плакался и уверял, что у него все забрали. Фабрицио дал ему экую, и в доме сразу нашелся овес. «Лошадь у меня дрянная, – думал Фабрицио, – но, пожалуй, какой-нибудь писарь позарится на нее». И он улегся спать в конюшне, рядом со станком. На следующий день, за час до рассвета, Фабрицио уже ехал по дороге и, ласково поглаживая, похлопывая свою лошадь, добился того, что она побежала рысцей. Около пяти часов утра он услышал канонаду: завязалось сражение при Ватерлоо.

III

Вскоре Фабрицио повстречались маркитантки, и великая признательность, которую он питал к тюремнице из Б..., побудила его заговорить с ними: он спросил одну из них, где ему найти Четвертый гусарский полк, в котором он служит.

– А ты бы лучше не торопился, голубчик! – ответила маркитантка, растроганная бледностью и прекрасными глазами Фабрицио. – Нынче дело будет жаркое, а поглядеть на твою руку, – где уж тебе саблей рубить! Будь у тебя ружье – куда ни шло, – и ты бы палил не хуже других.

Этот совет не понравился Фабрицио. Он стегнул лошадь, но, как ни понукал ее, не мог обогнать повозку маркитантки. Время от времени пушки как будто громыхали ближе, и тогда грохот мешал маркитантке и Фабрицио слышать друг друга. Фабрицио, вне себя от воодушевления и счастья, возобновил разговор с нею. С каждым ее словом он все больше сознавал свое счастье. И женщина эта казалась ему такой доброй, что он в конце концов все рассказал ей, утаив только свое настоящее имя и побег из тюрьмы. Маркитантка была удивлена и ничего не поняла в том, что ей наговорил этот юный красавчик солдат.

– Ага, догадалась! – наконец воскликнула она с торжествующим видом. – Вы молодой буржуа и влюбились, верно, в жену какого-нибудь капитана Четвертого гусарского полка. Ваша милая подарила вам мундир, вы его надели и теперь вот едете догонять ее. Истинный бог, никогда вы не были солдатом! Но так как вы храбрый малый, а ваш полк пошел в огонь, вы не желаете прослыть трусишкой и тоже решили понюхать пороху.

Фабрицио со всем соглашался: это было единственное средство получить разумный совет. «Я ведь совсем не знаю, какие обычаи у французов, – думал он, – и если кто-нибудь не возьмется мной руководить, я, чего доброго, опять попаду в тюрьму и вдобавок у меня опять украдут лошадь».

– Во-первых, голубчик, – сказала маркитантка, все больше проникаясь к нему дружеским расположением, – признайся, что тебе еще нет двадцати одного года; самое большее, тебе семнадцать.

Это была правда, и Фабрицио охотно признал ее.

– Ну, значит, ты еще даже не рекрут и готов лезть под пули только ради прекрасных глаз твоей капитанши. Черт побери, у нее губа не дура! Слушай, если у тебя еще осталось хоть немного золотых *кругляшек* из тех, что она тебе подарила, тебе прежде всего надо купить другую лошадь. Погляди, как твоя кляча прядает ушами, когда пушки громыхнут чуть поближе, – это крестьянская лошадь, из-за нее тебя убьют, как только ты попадешь на передовые. Постой, видишь вон там, над кустами, белый дымок? Это из ружей стреляют. Ну так вот, приготовься: как засвистят вокруг пули, отпразднуешь ты труса! Поешь-ка сейчас немножко, подкрепишься, пока еще время есть.

Фабрицио последовал совету и дал маркитантке золотой, попросив взять, сколько с него следует.

– Фу ты! Смотреть на тебя жалко! – воскликнула маркитантка. – Дурачок! И деньги-то он тратить не умеет. Надо бы тебя проучить. Вот положу в карман твой золотой да пущу Красотку крупной рысью... Попробуй догони нас на твоей кляче! Что ты будешь делать, дурачок, если я помчусь во весь дух? Помни, когда гремит пушка, золото никому показывать нельзя. На, получай сдачи – восемнадцать франков пятьдесят сантимов. Завтрак твой стоит всего тридцать су... А коней тут скоро можно будет купить сколько хочешь. За хорошую лошадку давай десять франков, а уж больше двадцати ни за какую не давай, будь это хоть конь четырех Эмоновых сыновей.

Когда Фабрицио кончил завтракать, неумолчная болтовня маркитантки была прервана вдруг какой-то женщиной, выехавшей на дорогу через вспаханное поле.

– Эй, Марго! Эй, слушай! – кричала она. – Сворачивай вправо. Твой Шестой егерский там стоит.

– Ну, надо нам, дружок, проститься, – сказала маркитантка нашему герою. – А право, жалко мне тебя. Полюбился ты мне, честное слово! Ничего-то ты не знаешь, каждый тебя одурачит, истинный бог! Поедем лучше со мной в Шестой егерский.

– Я и сам понимаю, что не знаю ничего, – ответил Фабрицио, – но я хочу драться и потому поеду вон туда, где белый дымок.

– Да ты погляди, как твоя лошадь ушами прыгает. Как только ты туда подъедешь, тебе ее не сдержать, хоть она и малосильная, – помчится вскачь и бог весть куда тебя занесет. Уж поверь моему слову. Вот что тебе надо сделать: как подъедешь к цепи, слезай, подбери с земли ружье и подсумок, становись рядом с солдатами и все делай в точности как они. Да господи боже ты мой! Ты, поди, и патрона-то скусить не умеешь!

Фабрицио, сильно уязвленный, все же признался своей новой приятельнице, что она угадала.

– Бедняжка! Сразу и убьют тебя, как бог свят. Убьют! Долго ли до беды! Нет, непременно надо тебе со мной ехать, – сказала маркитантка властным тоном.

– Но я хочу сражаться!

– А ты и будешь сражаться! Еще как! Шестой егерский – лихой полк, а нынче дела на всех хватит.

– А скоро мы найдем наш полк?

– Через четверть часика, самое большее.

«Раз эта славная женщина отрекомендует меня, – подумал Фабрицио, – меня не примут за шпиона из-за полного моего неведения всего, и мне можно будет участвовать в бою». В эту минуту грохот канонады усилился, выстрелы зачастили один за другим. «Будто четки перебирают», – думал Фабрицио.

– Вон уж и ружейная перестрелка слышна, – сказала маркитантка, подхлестнув кнутом свою лошадку, казалось, сразу воодушевившуюся от шума сражения.

Маркитантка свернула вправо, на проселочную дорогу, тянувшуюся меж лугов; на дороге этой было по колено грязи, – повозка чуть не увязла; Фабрицио подталкивал колеса. Лошадь его два раза упала. Вскоре слякоти стало меньше, но дорога перешла в тропинку, извивавшуюся в траве. Не успел Фабрицио проехать по ней и пятисот шагов, как лошадь его вдруг остановилась: поперек тропинки лежал труп, испугавший и лошадь и всадника.

Лицо Фабрицио, бледное от природы, приняло заметный зеленоватый оттенок. Маркитантка посмотрела на мертвеца и сказала, как будто говоря сама с собой: «Не из нашей дивизии»; потом подняла глаза и, взглянув на Фабрицио, захохотала:

– Ха-ха-ха! Что, мальчик? Хороша игрушка? – крикнула она.

Фабрицио застыл от ужаса. Больше всего его поразили босые грязные ноги трупа, с которых уже стацили башмаки, да и все с него сняли, оставив только рваные штаны, перепачканные кровью.

– Слезай с лошади! – сказала маркитантка. – Подойди к нему; тебе надо привыкать... Гляди-ка! – воскликнула она. – В голову ему угодило!

Действительно, пуля попала около носа и вышла наискось через левый висок, отвратительно изуродовав лицо. Уцелевший глаз не был закрыт.

– Ну, что ж ты! Слезай! – повторила маркитантка. – Пожми ему руку, поздоровайся. Может, он тебе ответит.

У Фабрицио сердце зашло от отвращения, однако он смело соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, крепко встряхнув, пожал ее, но отойти уже не мог, точно

оцепенел; он чувствовал, что у него не хватит силы сесть на лошадь. Особенно жутко было ему видеть этот открытый глаз.

«Маркитантка сочтет меня трусом», – с горечью думал он и все же не мог пошевелиться, чувствуя, что, стоит ему сделать хоть одно движение, он упадет. Это была ужасная для него минута: он действительно был близок к обмороку. Маркитантка заметила это, проворно спрыгнула с тележки и, ни слова не говоря, подала ему стаканчик водки; Фабрицио выпил его залпом, взобрался после этого на лошадь и молча поехал дальше. Маркитантка время от времени искоса поглядывала на него.

– Завтра пойдешь в бой, дружок, – сказала она наконец, – а нынче оставайся со мной. Сам видишь, тебе еще надо привыкнуть к солдатскому ремеслу.

– Напротив, я сейчас же хочу сражаться! – воскликнул наш герой с таким грозным видом, что это показалось маркитантке хорошим предзнаменованием.

Грохот пушек усилился и как будто приближался. Выстрелы гремели без всякого промежутка, звуки их сливались в непрерывную басовую ноту, и на фоне этого непрерывного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, явственно выделялась ружейная перестрелка.

Как раз в это время они въехали в маленькую рощицу. Маркитантка увидела, что навстречу опрометью бегут четыре французских солдата: она спрыгнула с повозки и, отбежав от дороги шагов на двадцать, спряталась в яме, оставшейся на месте выкорчеванного дерева. «Ну, – подумал Фабрицио, – сейчас посмотрим, трус ли я». Он остановился около повозки, брошенной маркитанткой, и вытащил саблю из ножен. Солдаты, не обратив на него ни малейшего внимания, побежали по опушке рощи, влево от дороги.

– Это наши, – спокойно сказала маркитантка, подбегая к тележке, вся запыхавшись. – Вот если б твоя лошадь могла скакать галопом, я бы сказала тебе: «Гони ее вскачь, до конца рощи, погляди, есть ли кто на лугу».

Фабрицио, не заставив просить себя дважды, сорвал ветку тополя, ободрал с нее листья и принялся изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она понеслась вскачь, но через минуту опять затрусила рысцей. Маркитантка пустила свою лошадь галопом.

– Да погоди ты, стой! – кричала она Фабрицио.

Вскоре оба они выехали из рощи. Остановившись на краю луга, они услышали ужаснейший грохот: пушки и ружья палили со всех сторон – справа, слева, сзади. И так как роща, из которой они выехали, была на бугре, поднимавшемся над лугом на восемь – десять футов, им был виден вдали один из участков сражения, но на лугу, перед рощей, никого не оказалось. На расстоянии тысячи шагов от них луг был перерезан длинной шеренгой очень густых ветел; над ветлами расплывался в небе белый дым, иногда взлетая клубами и кружась, как смерч.

– Эх, если б знать, где наш полк, – озабоченно проговорила маркитантка. – Напрямик лугом нельзя ехать. Да вот что, – сказала она Фабрицио, – если столкнешься с неприятелем, старайся колоть его саблей, не вздумай рубить.

Но тут маркитантка увидела тех четырех солдат, о которых мы упоминали. Они появились из лесу, слева от дороги. Один из них ехал верхом.

– Ну, вот и лошадь тебе, – сказала она Фабрицио. – Эй, подъезжай сюда! Эй! – крикнула она верховому. – Пропусти стаканчик водки.

Солдаты повернули к повозке.

– Где Шестой егерский? – крикнула маркитантка.

– Недалеко. В пять минут доедешь; перед тем вон каналом, что идет вдоль деревьев. Там как раз полковника Макона только что убили.

– Слушай, хочешь за лошадь пять франков?

– Пять франков? Экая ты шутница, матушка. Лошадь-то офицерская! Я через четверть часа за пять золотых ее продам.

– Дай-ка мне золотой, – шепнула маркитантка Фабрицио; потом, подбегая к верховому, приказала: – Слезай! Живо! Вот тебе золотой.

Солдат слез с лошади, Фабрицио весело вскочил на нее; маркитантка стала отвязывать вьючок с шинелью, притороченный к седлу его клячи.

– А ну-ка, помогите мне, – крикнула она солдатам. – Что же это вы? Дама работает, а они стоят себе, смотрят.

Но едва пойманная лошадь почувствовала на своей спине вьючок, она взвилась на дыбы, и Фабрицио, хотя и был хороший наездник, с великим трудом сдержал ее.

– Видно, что славный скакун, – заметила маркитантка. – Не привык, чтобы спину ему вьюком щекотало.

– Генеральский конь! – воскликнул солдат, продавший лошадь. – Такому коню десять золотых цена, и то мало!

– Вот тебе двадцать франков, – сказал ему Фабрицио, не помня себя от радости, что под ним настоящий горячий скакун.

В эту минуту пушечное ядро ударило наискось в шеренгу ветел, и Фабрицио с любопытством смотрел, как полетели в разные стороны мелкие ветки, словно срезанные взмахом косы.

– Эге, пушки-то ближе забирают, – сказал солдат, взяв у Фабрицио двадцать франков.

Было, вероятно, около двух часов дня. Фабрицио все еще восторженно вспоминал любопытное зрелище, как вдруг, пересекая угол широкой луговины, на краю которой он остановился, проскакали всадники: несколько генералов, а за ними – человек двадцать гусаров; лошадь его заржала, раза три поднялась на дыбы, потом принялась яростно дергать узду, которая удерживала ее. «Ну, пусть!» – подумал Фабрицио.

Лошадь, предоставленная своей воле, понеслась во весь опор и догнала эскорт, сопровождавший генералов. Фабрицио насчитал четыре треуголки с золотыми галунами. Через четверть часа по нескольким словам, которыми перебросились гусары, скакавшие рядом с ним, он понял, что один из генералов – знаменитый маршал Ней. Фабрицио был на седьмом небе от счастья, но никак не мог угадать, который из четырех генералов – маршал Ней; он отдал бы все на свете, лишь бы узнать это, но вспомнил, что ему нельзя говорить. Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня; канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешили. Канава обрывалась отвесно, край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга. Фабрицио, забыв обо всем от радости, больше думал о генерале Нее и о славе, чем о своей лошади; она, разгорячившись, прыгнула в воду; брызги взлетели высоко вверх. Одного из генералов всего обдало водой, и он громко выругался:

– Ах, дьявол! Скотина проклятая!

Фабрицио был глубоко уязвлен таким оскорблением. «Могу я потребовать от него удовлетворения?» – думал он. А пока что, желая доказать, что он вовсе уж не такой увалень, решил взобраться на другой берег верхом на лошади; но берег был отвесный и высотой в пять-шесть футов. Пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Фабрицио пустил лошадь по воде, дошедшей ей почти до морды, нашел наконец место, служившее, видимо, для водопоя, и по отлогому скату без труда выехал на поле, тянувшееся по другую сторону канала. Он перебрался первый из всего эскорта и гордо поехал рысцей вдоль берега; гусары барахтались в воде и находились в довольно затруднительном положении, так как во многих местах глубина доходила до пяти футов. Две-три лошади испугались, вздумали плыть и

подняли целые столбы брызг. Вахмистр заметил маневр желторотого юнца, совсем не имевшего военной выправки.

– Эй, вы! Назад! Поворачивай влево, там водопой! – крикнул он.

Мало-помалу все перебрались.

Выехав на поле, Фабрицио застал там генералов одних, без эскорта; пушки громыхали как будто все сильнее; он с трудом расслышал голос того генерала, которого так сильно обдал водой, хотя тот кричал ему в самое ухо:

– Где ты взял эту лошадь?

Фабрицио так смутился, что ответил по-итальянски:

– L'ho comprato rosso fa.⁹

– Что говоришь? Не слышу, – крикнул генерал.

Но в эту минуту грохот так усилился, что Фабрицио не мог ответить. Признаемся, что в нашем герое было в эту минуту очень мало геройского. Однако страх занимал в его чувствах второе место, – неприятнее всего было слышать этот грохот, от которого даже ушам стало больно. Эскадрон пустил лошадей вскачь; ехали по вспаханному полю, которое начиналось сразу от канала и все было усеяно трупами.

– Красные мундиры! Красные мундиры! – радостно кричали гусары эскорта.

Сначала Фабрицио не понимал их возгласов, но наконец заметил, что, действительно, почти на всех мертвецах были красные мундиры. И вдруг он вздрогнул от ужаса, заметив, что многие из этих несчастных «красных мундиров» еще живы; они кричали, очевидно, звали на помощь, но никто не останавливался, чтобы помочь им. Наш герой, жалостливый по натуре, изо всех сил старался, чтобы его лошадь не наступила копытом на кого-нибудь из этих людей в красных мундирах. Эскадрон остановился. Фабрицио, не уделявший должного внимания своим воинским обязанностям, все скакал, глядя на какого-то несчастного раненого.

– Эй, желторотый, стой! – крикнул ему вахмистр.

Фабрицио остановился и увидел, что он оказался шагов на двадцать впереди генералов, справа, и что они как раз смотрят в эту сторону в подзорные трубки. Повернув обратно, чтобы занять свое место в хвосте эскорта, стоявшего в нескольких шагах позади генералов, он заметил, как один из них, самый толстый, повернулся к своему соседу, тоже генералу, и с властным видом что-то говорит, как будто распекает его и даже чертыхается. Фабрицио не мог подавить любопытства и, невзирая на совет своей приятельницы-тюремщицы помалкивать, заговорил с соседом, искусно составив короткую, очень правильную, очень гладкую французскую фразу:

– Кто этот генерал, который *разносит* своего соседа?

– Вот тебе на! Маршал.

– Какой маршал?

– Маршал Ней, дурень! Где же это ты служил до сих пор?

Фабрицио, юноша очень обидчивый, даже не подумал разгневаться за оскорбление; он с детским восхищением смотрел во все глаза на знаменитого князя Московского, храбрейшего из храбрых.

Вдруг все поскакали галопом. Через несколько мгновений Фабрицио увидел, что шагах в двадцати перед ним вспаханная земля шевелится самым диковинным образом. Борозды пашни были залиты водой, а мокрая земля на их гребнях взлетала черными комками на три-четыре фута вверх. Фабрицио взглянул на эту странную картину и снова стал думать о славе маршала. Позади раздался короткий крик: двое гусаров, убитые пушечным ядром, упали с седла, и, когда он обернулся посмотреть, эскадрон уже был от них в двадцати шагах. Ужаснее

⁹ Я только что ее купил.

всего было видеть, как билась на вспаханной земле лошадь, вся окровавленная, запутавшись ногами в собственных кишках: она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи.

«Наконец-то я под огнем! – думал Фабрицио. – Я был в бою! – твердил он удовлетворенно. – Я теперь настоящий военный».

В эту минуту эскорт мчался во весь опор, и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он ни вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым – батарея стояла очень далеко, – а среди ровного, непрерывного гула, в который сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы; понять он ничего не мог.

В эту минуту генералы и эскорт спустились на узкую, залитую водой дорожку, тянущуюся под откосом, ниже поля футов на пять.

Маршал остановился и опять стал смотреть в подзорную трубку. На этот раз Фабрицио мог разглядеть его как следует. Оказалось, что у него совсем светлые волосы и широкое румяное лицо. «У нас в Италии нет таких лиц, – думал Фабрицио. – Я вот, например, бледный, а волосы у меня каштановые, мне никогда таким не быть!» – мысленно добавил он с грустью. Для него эти слова означали: «Мне никогда не быть таким героем!» Он поглядел на гусаров, – кроме одного, у всех были рыжеватые усы. Фабрицио смотрел на гусаров, а они все смотрели на него. От их взглядов он покраснел и, чтобы положить конец своему смущению, повернул голову в сторону неприятеля. Он увидел длинные ряды красных человечков, и его очень удивило, что они такие маленькие: их цепи, составлявшие, верно, полки или дивизии, показались ему не выше кустов живой изгороди. Один ряд красных всадников рысью приближался к той дорожке в низине, по которой поехали шагом маршал и эскорт, шлепая по грязи. Дым мешал различить что-нибудь в той стороне, куда все они двигались; только иногда на фоне этого белого дыма проносились галопом всадники.

Вдруг Фабрицио увидел, что со стороны неприятеля во весь дух мчатся верхом четверо. «А-а, нас атакуют!» – подумал он, но потом увидел, как двое из этих верховых подъехали к маршалу и что-то говорят ему. Один из генералов маршальской свиты поскакал в сторону неприятеля, а за ним – два гусара из эскорта и те четыре всадника, которые только что примчались оттуда. Потом дорогу перерезал узкий канал, и, когда все перебрались через него, Фабрицио оказался рядом с вахмистром, с виду очень славным малым. «Надо с ним заговорить, – думал Фабрицио, – может быть, они тогда перестанут так разглядывать меня». Он долго обдумывал, что сказать вахмистру.

– Сударь, – сказал он наконец, – я в первый раз присутствую при сражении. Скажите, это настоящее сражение?

– Вроде того. А вы кто такой будете?

– Я брат жены одного капитана.

– А как его звать, вашего капитана?

Герой наш страшно смутился. Он совсем не предвидел такого вопроса. К счастью, маршал и эскорт опять поскакали галопом. «Какую французскую фамилию назвать?» – думал Фабрицио. Наконец ему вспомнилась фамилия хозяина гостиницы, в которой он жил в Париже; он придвинулся к вахмистру вплотную и во всю мочь крикнул ему:

– Капитан Менье!

Вахмистр, плохо расслышав из-за грохота пушек, ответил:

– А-а, капитан Телье? Ну, брат, его убили.

«Браво! – воскликнул про себя Фабрицио. – Не забыть: «Капитан Телье». Надо изобразить огорчение».

– Ах, боже мой! – произнес он с жалостным видом.

С низины выехали на лужок и помчались по нему; снова стали падать ядра; маршал поскакал к кавалерийской дивизии. Эскорт мчался среди трупов и раненых, но это зрелище уже не производило на нашего героя такого впечатления, как раньше, – он думал теперь о другом.

Когда эскорт остановился, Фабрицио заметил вдали повозку маркитантки, и нежные чувства к этой почтенной корпорации взяли верх надо всем: он помчался к повозке.

– Куда ты? Стой, св...! – кричал ему вахмистр.

«Что он тут может мне сделать?» – подумал Фабрицио и продолжал скакать к повозке маркитантки. Он прищпоривал лошадь в надежде увидеть свою знакомую – добрую маркитантку, которую встретил утром; лошадь и повозка были очень похожи, но хозяйка их оказалась совсем другою, и Фабрицио даже нашел, что у нее очень злое лицо. Подъехав к повозке, он услышал, что маркитантка сказала кому-то:

– А ведь какой красавец мужчина был!..

Тут нашего новичка солдата ждало очень неприятное зрелище: отнимали ногу какому-то кирасиру, молодому и красивому человеку саженного роста. Фабрицио зажмурился и выпил один за другим четыре стаканчика водки.

– Ишь ты, как хлещет, заморыш! – воскликнула маркитантка.

После водки Фабрицио осенила блестящая идея: «Надо купить благоволение гусаров, моих товарищей в эскорте».

– Продайте мне все, что осталось в бутылке, – сказал он маркитантке.

– Все? А ты знаешь, сколько это стоит в такой день? Десять франков!

Зато, когда Фабрицио галопом подскочил к эскорту, вахмистр крикнул:

– Э-э! Ты водочки нам привез! Для того и удрал? Давай сюда!

Бутылка пошла по рукам; последний, допив остатки, высоко подбросил ее и крикнул Фабрицио:

– Спасибо, товарищ!

Все смотрели теперь на Фабрицио благосклонным взглядом. У него отлегло от сердца, словно свалился тяжелый камень, давивший его: сердце у него было тонкого изделия, – из тех, которым необходимо дружеское расположение окружающих. Наконец-то спутники перестали на него коситься и между ними установилась связь! Фабрицио глубоко вздохнул и уже непринужденно спросил вахмистра:

– А если капитан Телье убит, где же мне теперь сестру искать?

Он воображал себя маленьким Макьявелли, говоря так смело «Телье» вместо «Менье».

– Нынче вечером узнаете, – ответил ему вахмистр.

Эскорт снова двинулся и поскакал вслед за маршалом к пехотным дивизиям. Фабрицио чувствовал, что совсем охмелел, он выпил слишком много водки, его покачивало в седле; но тут ему очень кстати вспомнился совет кучера, возившего его мать: «Ежели хватил лишку, равняйся на лошадь впереди и делай то, что делает сосед».

Маршал направился к кавалерийским частям, довольно долго пробыл там и дал приказ атаковать неприятеля; но наш герой уже час или два совсем не сознавал, что происходит вокруг. Он чувствовал страшную сонливость, и, когда лошадь его скакала, он грузно подпрыгивал в седле.

Вдруг вахмистр крикнул гусарам:

– Эй, сукины дети, не видите, что ли?.. Император!

Тотчас же гусары рявкнули:

– *Да здравствует император!*

Нетрудно догадаться, что герой наш очнулся и смотрел во все глаза, но видел только скакавших на лошадях генералов, за которыми также следовал эскорт. Длинные гривы, украшавшие каски драгун в свите императора, мешали различить лица.

«Так я и не увидел, не увидел императора на поле сражения! И все из-за этой проклятой водки!»

От такой мысли Фабрицио окончательно отрезвел.

Спустились на дорогу, залитую водой. Лошади жадно тянулись мордами к лужам.

– Так это император проехал? – спросил Фабрицио у соседа.

– Ну да, он! Тот, у которого мундир без золотого шитья. Как же это вы не заметили его? – благожелательно ответил гусар.

Фабрицио страстно хотелось догнать императорский эскорт и присоединиться к нему. Какое счастье по-настоящему участвовать в войне под водительством такого героя! «Ведь я именно для этого и приехал во Францию. И я вполне могу это сделать: я же сопровождаю этих генералов только оттого, что моей лошади вздумалось поскакать вслед за ними».

Фабрицио решил остаться лишь потому, что гусары, его новые товарищи, смотрели на него очень приветливо, и он начинал считать себя близким другом всех этих солдат, рядом с которыми скакал несколько часов. Он уже видел, как между ними завязывается благородная дружба героев Тассо и Ариосто. А если присоединиться к эскорту императора, надо снова заводить знакомство; да еще его там, пожалуй, встретят плохо, так как в императорском эскорте драгуны, а на нем гусарский мундир, как и на всех, кто сопровождал маршала. Гусары же смотрели теперь на нашего героя таким ласковым взглядом, что он был на верху блаженства; он сделал бы для своих товарищей все на свете; душой и мыслями он витал в облаках. Все вокруг сразу переменялось с тех пор, как он почувствовал себя среди друзей; он умирал от желания расспросить их. «Нет, я еще немного пьян, – убеждал он себя. – Надо помнить, что говорила тюремщица!»

Когда отряд выбрался из ложбины, Фабрицио заметил, что маршал Ней куда-то исчез, а вместо него впереди эскорта ехал другой генерал – высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом.

Генерал этот был не кто иной, как граф д'А***, – тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как был бы он счастлив увидеть Фабрицио дель Донго!

Перед глазами Фабрицио уже давно не взлетали черные комки земли от падения пушечных ядер. А когда подъехали к кирасирскому полку и остановились позади него, он услышал, как защелкала по кирасам картечь; несколько человек упало.

Солнце уже стояло низко и вот-вот должно было закатиться, когда эскорт, проехав по дороге между высокими откосами, поднялся на пологий бугор в три-четыре фута и двинулся по вспаханному полю. Фабрицио услышал позади себя глухой, странный звук и, обернувшись, увидел, что четыре гусара упали вместе с лошадьми; самого генерала тоже опрокинуло на землю, но он поднялся на ноги, весь в крови. Фабрицио посмотрел на упавших гусаров, – трое еще судорожно дергались, четвертого придавила лошадь, и он кричал: «Вытащите меня, вытащите!» Вахмистр и трое гусаров спешили, чтобы помочь генералу, который, опираясь на плечо адъютанта, пытался сделать несколько шагов: он хотел отойти от своей лошади, потому что она свалилась на землю и, яростно лягаясь, билась в конвульсиях.

Вахмистр подошел к Фабрицио, и в эту минуту наш герой услышал, как позади, у самого его уха, кто-то сказал:

– Только вот эта еще может скакать.

И вдруг он почувствовал, как его схватили за ноги, приподняли, поддерживая под мышки, протаскивали по крупу лошади, потом отпустили, и он, соскользнув, упал на землю.

Адъютант взял лошадь Фабрицио под уздцы, генерал с помощью вахмистра сел в седло и поскакал галопом; за ним поскакали все шесть уцелевших гусаров. Взбешенный, Фабрицио поднялся на ноги и побежал за ними, крича: «Ladri! Ladri!» (Воры! Воры!). Смешно было гнаться за ворами посреди поля сражения.

Вскоре эскорт и генерал граф д'А*** исчезли за шеренгой ветел. Взбешенный Фабрицио добежал до этих ветел, очутился перед глубоким каналом и перебрался через него. Вскарабкавшись на другой берег, он опять принялся браниться, увидев генерала и эскорт, мелькавших между деревьями, но уже на очень большом расстоянии.

– Воры! Воры! – кричал он теперь по-французски.

Наконец, в полном отчаянии – не столько от похищения его лошади, сколько от предательства друзей, – еле живой от усталости и голода, он бросился на землю у края рва. Если бы его великолепную лошадь отнял неприятель, Фабрицио и не думал бы волноваться, но мысль, что его предали и ограбили товарищи, – этот вахмистр, которого он так полюбил, и эти гусары, на которых он уже смотрел как на родных братьев, – вот что надрывало ему сердце. Он не мог утешиться, думая о такой подлости, и, прислонившись к стволу ивы, плакал горькими слезами. Он развенчивал одну за другой свои прекрасные мечты о рыцарской, возвышенной дружбе, подобной дружбе героев «Освобожденного Иерусалима». Совсем не страшна смерть, когда вокруг тебя героические и нежные души, благородные друзья, которыежимают тебе руку в минуту расставания с жизнью! Но как сохранить в душе энтузиазм, когда вокруг одни лишь низкие мошенники! Как всякий возмущенный человек, Фабрицио преувеличивал.

Через четверть часа он оторвался от этих чувствительных размышлений, заметив, что пушечные ядра уже долетают до шеренги деревьев, в тени которых он сидел. Он поднялся на ноги и попытался сориентироваться. Перед ним был большой луг, а по краю его тянулся широкий канал, окаймленный густыми ветлами; Фабрицио показалось, что он уже видел это место. Через ров перебиралась какая-то пехотная часть и уже выходила на луг в четверти лье от Фабрицио. «Я чуть не уснул тут, – подумал он. – Главное теперь – не попасть в плен!» И он быстрым шагом пошел вдоль канала. Вскоре он успокоился, разглядев солдатские мундиры: он испугался было, что его отрежут от своих, но полк оказался французский; Фабрицио свернул вправо, чтобы догнать солдат.

Помимо нравственных страданий от мысли, что его так подло обокрали и предали, теперь с каждой минутой все сильнее давало себя чувствовать страдание физическое: мучительный голод. Пройдя, вернее, пробежав, минут десять, он, к великой своей радости, увидел, что полк, который тоже шел очень быстро, останавливается, как будто собираясь занять тут позицию. Через несколько минут он уже был среди солдат.

– Товарищи, не можете ли продать мне кусок хлеба?

– Гляди-ка! Он нас за булочников принимает!..

Эта жестокая шутка и дружный язвительный смех, который она вызвала, совсем обескуражили Фабрицио. Так, значит, война вовсе не тот благородный и единодушный порыв сердец, влюбленных в славу, как он это воображал, начитавшись воззваний Наполеона!.. Он сел, вернее, упал, на траву и вдруг побледнел. Солдат, одернувший его, остановился в десяти шагах, чтобы протереть платком кремневый замок ружья, а затем подошел к Фабрицио и бросил ему горбушку хлеба; видя, что он не поднял ее, солдат отломил кусочек и всунул ему в рот. Фабрицио открыл глаза и съел весь хлеб молча; он не мог произнести ни слова от слабости. Когда он наконец пришел в себя и поискал глазами солдата, чтобы заплатить ему, кругом никого уже не было, даже те солдаты, которые, казалось, только что стояли около него, были уже в ста шагах и шли строем. Фабрицио машинально поднялся с земли и двинулся вслед за ними. Он вошел в лес и, падая с ног от усталости, уже искал взглядом удобное местечко, чтобы лечь, как вдруг, к великой своей радости, увидел хорошо знакомую повозку, лошадь, а потом и самое маркитантку, которая встретилась ему утром. Она подбежала к нему и испугалась его вида.

– Дружок, можешь пройти еще немного? – спросила она. – Ты, что же, ранен? А где же твой красивый конь?

Говоря это, она подвела его к повозке, потом, подхватив под руку, помогла взобраться туда. Наш герой, измученный усталостью, свернулся в комочек и сразу же уснул глубоким сном¹⁰.

¹⁰ Para u. P. y E. 15.X.38. – *Примеч. автора.*

IV

Ничто не могло его разбудить – ни ружейные выстрелы, раздававшиеся около самой повозки, ни бешеный галоп лошади, которую маркитантка изо всех сил нахлестывала кнутом: полк весь день был убежден в победе, а теперь, внезапно атакованный целой тучей прусской кавалерии, отступал, точнее сказать, бежал, в сторону Франции.

Полковник, красивый и щеголеватый молодой офицер, заменивший убитого Макона, погиб от прусской сабли; командир батальона, седовласый старик, приняв на себя командование, приказал полку остановиться.

– Сволочное дело! – сказал он солдатам. – Во времена республики не спешили удирать, пока неприятель к тому не принудит... Защищайте каждую пядь этой местности, умирайте, а держитесь! – воскликнул он и крепко выругался. – Помните: вы защищаете тут землю отчизны своей! Пруссаки хотят захватить ее!

Повозка остановилась, и Фабрицио сразу проснулся. Солнце давно закатилось; Фабрицио удивился, что уже почти стемнело. В разные стороны беспорядочной гурьбой бежали солдаты; этот разброд поразил нашего героя; он заметил, что у всех растерянный вид.

– Что случилось? – спросил он у маркитантки.

– Пустяки! Расколотили нас. Прусская кавалерия крошит наших саблями. Вот и все. Дурак генерал думал сначала, что это наша кавалерия мчится. Ну-ка, поднимайся живей, помоги мне построжки связать. Красотка-то оборвала их.

В десяти шагах грянули выстрелы. Наш герой, отдохнувший и бодрый, сказал про себя: «А ведь я, в сущности, еще не сражался по-настоящему, весь день только и делал, что эскортировал генералов».

– Я должен сражаться, – сказал он маркитантке.

– Не беспокойся! Будешь сражаться сколько душе твоей угодно и даже больше. Мы пропали. Обри, дружок! – крикнула она спешившему мимо капралу. – Поглядывай время от времени, где я, где моя повозка.

– Вы пойдете сейчас в бой? – спросил Фабрицио капрала.

– Нет! Надены бальные башмаки и отправлюсь плясать.

– Я пойду с вами.

– Можешь взять с собой этого молоденького гусара! – крикнула маркитантка. – Он хотя и буржуа, а храбрый малый.

Капрал молча шел быстрым шагом. Подбежали восемь – десять солдат и пошли за ним; он привел их к толстому дубу, окруженному кустами терновника, и все так же молча разместил их вдоль опушки леса растянутой цепью – каждый стоял по меньшей мере в десяти шагах от своего соседа.

– Ну, слушай, ребята! – сказал наконец капрал, впервые нарушив молчание. – Без команды не стрелять. Помните, что у вас только по три патрона.

«Да что же это происходит?» – спрашивал себя Фабрицио. И когда наконец остался один на один с капралом, сказал:

– У меня ружья нет.

– Для начала молчи! Ступай вон туда; шагах в пятидесяти от опушки найдешь какого-нибудь беднягу солдата, которого зарубили пруссаки. Сними с него ружье и подсумок. Да смотри у раненого не вздумай взять! Бери ружье и подсумок у того, кто наверняка убит. Поживей возвращайся, а не то попадешь под наши пули.

Фабрицио бросился бегом и вскоре вернулся с ружьем и подсумком.

– Заряди ружье и встань за это вот дерево. Только помни: без моей команды не стрелять... Эх, сукин сын! – выругался капрал, прервав свои указания. – Он и ружье-то зарядить не умеет!..

Капрал помог Фабрицио зарядить ружье и опять заговорил:

– Если увидишь, что неприятель скачет прямо на тебя, зарубить хочет, – вертись вокруг дерева, а стреляй только в упор, когда он будет в трех шагах от тебя, – так, чтобы твой штык почти касался его мундира. Да брось ты свою саблю! – крикнул капрал. – Еще споткнешься о нее и упадешь!.. Черт побери! Ну и солдат дают нам теперь!..

С этими словами он сам снял с Фабрицио саблю и в сердцах далеко отшвырнул ее.

– Ну-ка, оботри платком кремень в замке. Да ты хоть раз в жизни стрелял из ружья?

– Я охотник.

– Слава тебе господи! – воскликнул капрал со вздохом облегчения. – Главное, без моей команды не стреляй.

И он ушел. Фабрицио ликовал. «Наконец-то я по-настоящему буду драться, убивать неприятеля! – думал он. – Нынче утром они угощали нас пушечными ядрами, а я ничего не делал, только напрасно рисковал жизнью – дурацкое занятие!»

Он глядел во все стороны с крайним любопытством. Вскоре очень близко от него раздалось семь-восемь выстрелов. Но так как он не получил приказа стрелять, то стоял, притаившись, за деревом. Уже надвигалась ночь. Ему казалось, что он в засаде на медвежьей облаве в Трамецинских горах, над Гриантой. И ему вспомнился охотничий прием; он достал из сумки патрон и вытащил из него пулю. «Если *он* покажется, надо уложить его на месте». И он забил шомполом вторую пулю в ствол ружья. Вдруг он услышал два выстрела возле самого своего дерева и в ту же минуту увидел кавалериста в голубом мундире, который вынесся на лошади с правой стороны и поскакал мимо него влево. «Он еще не в трех шагах от меня, – думал Фабрицио, – но я все-таки не промахнусь, я уверен». Фабрицио старательно целился, переводя дуло ружья, и наконец спустил курок. Всадник упал вместе с лошастью. Нашему герою по-прежнему казалось, что он на охоте, и он весело помчался к убитому им зверю. Он был уже совсем близко от упавшего и, видимо, умирающего пруссака, как вдруг с невероятной быстротой прискакали два других прусских кавалериста, явно намереваясь зарубить его. Фабрицио со всех ног бросился к лесу и, чтоб удобнее было бежать, швырнул наземь ружье. Пруссаки были уже в трех шагах от него, когда он добежал до поросли молодых дубков, насаженных вдоль опушки, с прямыми, ровными стволами толщиной в руку. Пруссаки на минуту замешкались перед этими дубками, но все же проехали и погнались за Фабрицио по лесной прогалине. Они чуть было снова не настигли его, но дорогу им преградили семь-восемь толстых деревьев, а Фабрицио проскользнул между стволами. И тотчас же навстречу ему раздался залп пяти-шести ружей, так близко, что вспышки чуть не обожгли ему лицо. Он пригнул голову, и, когда поднял ее, прямо перед ним оказался капрал Обри.

– Убил одного? – спросил он Фабрицио.

– Да, только ружье потерял.

– Не беда, ружей здесь сколько хочешь. А ты все-таки молодец, хоть и глядишь дурнем, – день у тебя не пропал даром. Зато вот эти разини промахнулись и упустили тех двоих, что за тобой гнались, а ведь пруссаки были у них перед самым носом. Мне-то их не видно было. Ну, ладно. Теперь дадим ходу; полк где-то недалеко, в десять минут разыщем; а кроме того, тут есть хорошая лужайка, на ней удобно собраться да залечь полукругом.

Говоря это, капрал быстро шел во главе своего отряда из десяти солдат. Шагах в двухстах действительно оказалась большая лужайка, и на ней им встретился раненый генерал, которого несли адъютант и слуга.

– Дайте мне четырех людей, – сказал он капралу еле слышным голосом. – Пусть отнесут меня в походный госпиталь; у меня нога раздроблена.

– Поди ты к... – крикнул капрал. – И ты и все ваши генералы. Все вы предали сегодня императора.

– Как! – яростно завопил генерал. – Вы не подчиняетесь моему приказу? Да вы знаете, с кем говорите? Я граф Б***, генерал, командир вашей дивизии! – и так далее, и так далее. Он произносил громкие фразы.

Адъютант бросился на солдат. Капрал ткнул ему штыком в руку около плеча и, ускорив шаг, двинулся дальше со своими солдатами.

– Не только тебе, а всем вашим генералам надо бы руки и ноги перебить! Щеголи проклятые! Все продались Бурбонам и изменили императору!

Фабрицио с изумлением слушал такое ужасное обвинение.

Около десяти часов вечера маленький отряд присоединился к полку у входа в деревню, состоявшую из нескольких узеньких улиц; но Фабрицио заметил, что капрал Обри избегал заговаривать с офицерами.

– Тут никак не пройдешь! – воскликнул капрал.

Все улицы были забиты пехотой, кавалерией, а главное, артиллерийскими передками и фургонами. Капрал Обри сворачивал то в одну, то в другую, то в третью улицу, но каждый раз через двадцать шагов уже невозможно было пробиться. Кругом раздавались злобные окрики и ругательства.

– И тут тоже какой-нибудь изменник командует! – воскликнул капрал. – Если у неприятеля хватит смекалки окружить деревню, всех нас заберут в плен, как собак. Ступай за мной, ребята.

Фабрицио оглянулся – за капралом шло теперь только шесть солдат. Через открытые ворота они вошли на просторный скотный двор, со двора – в конюшню, а оттуда через маленькую дверцу – в сад. Некоторое время они блуждали наудачу то в одну, то в другую сторону, наконец пролезли сквозь живую изгородь и очутились в поле, засеянном гречихой. Меньше чем через полчаса, пробираясь навстречу крикам и смутному гулу, они снова вышли на большую дорогу, но уже за деревней. В придорожных канавах горами валялись брошенные ружья. Фабрицио выбрал себе ружье. Но дорога, хотя и очень широкая, была так запружена беглецами и повозками, что за полчаса капрал и Фабрицио едва ли продвинулись на пятьсот шагов. Говорили, что дорога ведет в Шарлеруа. Когда на деревенской колокольне пробило одиннадцать, капрал воскликнул:

– Пойдем-ка опять полем!

Маленький отряд состоял уже только из трех солдат, капрала и Фабрицио. Не успели отойти от большой дороги на четверть лье, как один из солдат сказал:

– Невмоготу мне!

– И мне тоже, – добавил второй.

– Вот еще новости! Нам всем несладко, – заметил капрал. – А вот слушайте меня, и вам хорошо будет.

Он приметил пять-шесть деревьев, росших вдоль межи посреди огромного поля.

– К деревьям! – скомандовал он. А когда подошли к деревьям, добавил: – Ложитесь тут, а главное, не шумите. Но перед сном надо бы пожевать. У кого есть хлеб?

– У меня, – отозвался один из солдат.

– Давай сюда, – властно заявил капрал.

Он разрезал хлеб на пять ломтей и взял себе самый маленький.

– Минут за пятнадцать до рассвета, – сказал он, прожевывая хлеб, – нагрянет неприятельская кавалерия. Надо изловчиться, чтобы нас не зарубили. Если один будешь удирать от кавалерии по такой широкой равнине, крышка тебе, а впятером можно спастись. Держитесь около меня дружно, стреляйте только в упор, и я ручаюсь, что завтра к вечеру приведу вас в Шарлеруа.

За час до рассвета капрал разбудил свой отряд и велел всем перезарядить ружья. С большой дороги по-прежнему доносился гул, не прекращавшийся всю ночь: казалось, слышится отдаленный рев водопада.

– Точно бараны бегут, – сказал Фабрицио, с простодушным видом глядя на капрала.

– Заткнись, молокосос! – возмущенно крикнул капрал.

А трое солдат, составлявших всю его армию, посмотрели на Фабрицио такими глазами, словно слышали кощунство. Он оскорбил нацию.

«Ну, уж это слишком! – думал наш герой. – Я это и раньше замечал, у вице-короля в Милане. Они никогда не убегают! Нет! Французам нельзя говорить правду, если она задевает их тщеславие. Но мне наплевать, что они смотрят на меня такими злыми глазами. И я им это докажу».

Отряд двинулся в путь, по-прежнему шагах в пятистах от потока беглецов, катившегося по большой дороге. На расстоянии одного лье от места ночлега капрал и его отряд пересекли соединявшийся с большой дорогой проселок, на котором вповалку спали солдаты. Фабрицио купил тут за сорок франков довольно хорошую лошадь, а среди валявшихся повсюду сабель тщательно выбрал себе длинную, прямую саблю.

«Раз говорят, что надо колоть, а не рубить, – думал он, – эта будет лучше всех».

Вооружившись таким способом, он пустил лошадь вскачь и вскоре догнал капрала, который порядком опередил его.

Покрепче упершись в стремя и придерживая левой рукой саблю, он сказал, окидывая взглядом четырех французов:

– Эти люди бегут по дороге, точно стадо баранов... точно стадо испуганных баранов...

Фабрицио старательно подчеркивал слово *бараны*, но его товарищи уже совсем позабыли, как рассердило их это слово час тому назад. Тут сказало различие между итальянцами и французами: у французов натура более счастливая – они скользят по поверхности событий и не отличаются злопамятством.

Не скроем, Фабрицио был чрезвычайно доволен своим намеком на баранов. Отряд двигался полем; болтали о том о сем; прошли еще два лье, капрал все удивлялся, что неприятельская кавалерия не показывается; он сказал Фабрицио:

– Вы наша кавалерия. Скачите вон к той ферме, что стоит на бугре; спросите хозяина, не может ли он дать нам позавтракать *за плату*. Не забудьте сказать, что нас только пятеро. Если он станет мяться, дайте ему из своих денег пять франков вперед. Не беспокойтесь, мы отберем у него монетку после завтрака.

Фабрицио, взглянув на капрала, увидел на лице его выражение такой невозмутимой важности и даже своего рода морального превосходства, что покорно подчинился. Все прошло так, как предвидел главнокомандующий, только по настоянию Фабрицио у крестьянина не отняли силой те пять франков, которые были даны ему вперед.

– Это мои деньги, – сказал Фабрицио товарищам, – и я не за вас плачу, я плачу за себя: моей лошади тут дали овса.

Фабрицио так плохо изъяснялся по-французски, что его товарищам почудилось какое-то высокомерие в его словах. Это очень их задело, и постепенно у них созрела мысль проучить его, вызвать на дуэль в конце дня. Он казался им совсем не похожим на них, и это их обижало. Фабрицио, напротив, уже начинал чувствовать к ним большое расположение.

Два часа шли молча, и вдруг, поглядев на дорогу, капрал радостно крикнул:

– Наш полк идет!

Тотчас они побежали к дороге. Но, увы, вокруг древка с орлом было человек двести, не больше. Вскоре Фабрицио разглядел в толпе маркитантку: она шла пешком, с красными от слез глазами и время от времени опять принималась плакать. Фабрицио напрасно искал взглядом ее повозку и лошадь Красотку.

– Ограбили, погубили, обокрали! – закричала маркитантка в ответ на вопрошающий взгляд нашего героя.

Он молча слез с лошади, взял ее под уздцы и сказал маркитантке:

– Садитесь.

Ему не пришлось ее упрашивать.

– Укороти стремяна, – сказала она.

Усевшись хорошенько в седле, она принялась рассказывать Фабрицио о всех бедствиях, случившихся с нею за ночь. После бесконечно долгого повествования, которое наш герой из чувства нежной дружбы слушал очень внимательно, хотя ничего в нем не понимал, маркитантка добавила:

– И подумать только! Ведь это французы меня ограбили, поколотили, разорили.

– Как! Французы? А я думал, неприятель! – воскликнул Фабрицио с наивным видом, придававшим детскую прелесть его красивому, но строгому и бледному лицу.

– Какой же ты глупыш! – сказала маркитантка, улыбаясь сквозь слезы. – А все-таки ты очень милый.

– И при всем при том молодчина: ухлопал пруссака, – добавил капрал Обри, в общей сумятице случайно оказавшийся рядом с лошадей, на которой ехала маркитантка. – Только гордец он! – добавил капрал.

Фабрицио сделал нетерпеливое движение.

– А как твоя фамилия? – спросил капрал. – Может, доведется рапорт представить, так я хочу упомянуть тебя.

– Моя фамилия – Вази, – ответил Фабрицио, несколько замямвшись, – то есть нет, Було, – спохватился он.

Фамилия Було стояла в той подорожной, которую дала ему тюремщица в Б...; третьего дня он дорогой старательно вытвердил это имя, так как начинал уже кое-что соображать и меньше удивлялся всему, что происходило вокруг. Кроме подорожной гусара Було, он как зеницу ока берег итальянский паспорт, по которому мог претендовать на благородную фамилию Вази, продавца барометров. Когда капрал укорил его в гордости, он чуть было не ответил: «Я гордец? Я, Фабрицио Вальсерра маркезино дель Донго, согласившийся принять имя какого-то Вази, который торгует барометрами!»

Пока он раздумывал и мысленно говорил себе: «Надо крепко запомнить, что моя фамилия Було, иначе не миновать тюрьмы, которой угрожает мне судьба», – капрал и маркитантка обменялись несколькими словами на его счет.

– Не думайте, что я из любопытства спрашиваю, – сказала маркитантка, перестав вдруг говорить ему «ты». – Я вам добра хочу. Скажите, кто вы такой на самом деле?

Фабрицио ответил не сразу. Он думал о том, что вряд ли найдет более преданных друзей, готовых помочь и делом и разумным советом, а он так нуждался сейчас в разумных советах. «Мы скоро войдем в укрепленный город, комендант захочет знать, кто я такой, и меня засадят в тюрьму, если увидят из моих ответов, что я никого не знаю в Четвертом гусарском полку, хотя на мне мундир этого полка». Будучи австрийским подданным, Фабрицио прекрасно знал, какое важное значение имеет паспорт. Даже его близкие родственники, люди знатные, ханжески благочестивые и притом приверженцы победившей партии, раз двадцать имели всякие неприятности из-за паспортов. Поэтому Фабрицио не обиделся на вопрос маркитантки. Он ответил не сразу, подыскивая французские слова, чтобы понятнее все объяснить, а маркитантка, подстрекаемая любопытством, добавила, с намерением ободрить его:

– Капрал Обри и я дадим вам добрый совет, как вести себя.

– Я не сомневаюсь в этом, – ответил Фабрицио. – Моя фамилия Вази, я приехал из Генуи. Моя сестра, прославленная у нас красавица, вышла замуж за французского капитана. Мне только семнадцать лет, и сестра пригласила меня пожить у нее, чтобы посмотреть Фран-

цию и пополнить свое образование. Я уже не застал ее в Париже и, узнав, что она следует за этой армией, приехал сюда. Я повсюду ее искал и не мог найти. Солдатам показался подозрительным мой выговор, и меня арестовали. У меня были тогда деньги, я дал взятку жандарму, а он вынес мне чужую подорожную, мундир и сказал: «Удирай! Только поклянись, что никогда не произнесешь моей фамилии».

– А как его фамилия-то? – спросила маркитантка.

– Я же дал слово! – сказал Фабрицио.

– Он прав, – подтвердил капрал. – Жандарм, конечно, прохвост. Но приятель наш не должен называть его. А как фамилия капитана, мужа вашей сестры? Если мы будем знать фамилию, можно разыскать его.

– Телье, капитан Четвертого гусарского полка, – ответил наш герой.

– Так, значит, вас подвел иностранный выговор? – с некоторым лукавством спросил капрал. – Солдаты за шпиона вас приняли?

– Ну да! Подумайте, какая гнусность! – воскликнул Фабрицио, сверкая глазами. – Это я-то шпион! Когда я так люблю императора и французов! Мне нестерпимо такое оскорбление!

– Ошибаетесь! Никакого тут оскорбления нет. Ничего удивительного, что солдат взяло сомнение, – строгим тоном возразил капрал.

И он весьма наставительно объяснил, что в армии каждый должен состоять в какой-нибудь воинской части и носить ее мундир, а иначе тебя, естественно, примут за шпиона. Неприятель подсылает множество шпионов, – в этой войне кругом предатели. Пелена спала с глаз Фабрицио. В первый раз он понял, что сам виноват во всем, что случилось с ним за последние два месяца.

– погоди ты, пускай он нам все хорошенько расскажет, – перебила капрала маркитантка, у которой разгорелось любопытство.

Фабрицио покорился. Когда он кончил свой рассказ, маркитантка сказала капралу с серьезным видом:

– По правде говоря, он еще мальчик и никакой не военный. А нам теперь плохо придется в этой войне, после того как нас разбили и предали. Оставит он тут свои кости. А зачем? *Gratis pro deo*¹¹, что ли?

– Да он и ружья-то зарядить не умеет, – добавил капрал, – ни в двенадцать темпов, ни вольно. Ведь это я ему сам шомполом пулю забил, которой он пруссака ухлопал.

– Да он еще всякому встречному и поперечному деньги свои показывает, – добавила маркитантка. – Как только нас с ним не будет, его дочиста оберут.

– Какой-нибудь вахмистр, – добавил капрал, – затащит его к себе в эскадрон, чтобы на его счет винцом угощаться, а может, еще и неприятель его завербует, – ведь нынче кругом изменники. Первый попавшийся прикажет ему идти за собой, он пойдет. Лучше всего ему поступить в наш полк.

– Нет, уж, пожалуйста, капрал, – живо возразил Фабрицио. – На лошади гораздо удобнее, чем пешком. И к тому же я не умею заряжать ружье, а вы сами видели, что с лошастью я хорошо справляюсь.

Фабрицио очень гордился этой маленькой речью.

Мы не станем пересказывать читателю долгие прения между капралом и маркитанткой относительно дальнейшей судьбы нашего героя. Фабрицио заметил, что они в этом споре раза по три, по четыре повторяли все подробности его приключений: как заподозрили его солдаты, как жандарм продал ему подорожную и мундир, как он вчера оказался в эскорте

¹¹ Во славу божью (*лат.*).

маршала, как увидел мельком императора, как *подтибрили* у него лошадь, и так далее, и так далее.

С чисто женским любопытством маркизантка то и дело возвращалась к обстоятельствам похищения той прекрасной лошади, которую он купил при ее содействии.

– Так ты, значит, почувствовал, что тебя схватили за ноги, тихонечко приподняли, пронесли над хвостом твоей лошади и посадили на землю?..

«Зачем столько раз повторять то, что всем нам троим и так хорошо известно?» – думал Фабрицио. Он еще не знал, что во Франции простые люди именно таким путем стараются набрести на какую-нибудь мысль.

– А сколько у тебя денег? – вдруг спросила у него маркизантка.

Фабрицио ответил, не колеблясь ни секунды: он был уверен в душевном благородстве этой женщины – вот что выгодно отличает Францию.

– Осталось, пожалуй, тридцать наполеондоров и восемь или десять экю по пяти франков.

– В таком случае ты вольная птица! – воскликнула маркизантка. – Брось ты эту разбитую армию, сверни вправо, выберись на первую попавшуюся дорогу, хорошенько настегивай лошадь и скачи все дальше и дальше от армии. Постарайся поскорее купить штатское платье. Как проедешь восемь или десять лье и увидишь, что кругом больше нет солдат, поезжай на почтовых в какой-нибудь хороший город, отдохни там недельку, поешь бифштексов. Только смотри, никому не говори, что ты был в армии: жандармы сцапают тебя как дезертира, а ты хоть и славный мальчик, но у тебя еще нет смекалки, чтобы отвечать жандармам как надо. Как только оденешься опять в штатское, разорви солдатскую подорожную в клочки и назовись своей настоящей фамилией – Вази. А что, ему говорить, откуда он приехал? – спросила она у капрала.

– Из Камбре на Шельде. Это хороший городок. Слышал про него? Там еще собор есть и статуя Фенелона.

– Правильно, – сказала маркизантка. – Нипочем не говори, что ты был в сражении, никому ни слова насчет Б... и жандарма, который продал тебе подорожную. Если захочешь вернуться в Париж, поезжай сперва в Версаль и с той стороны пройди через парижскую заставу; иди пешком, не торопясь, как будто возвращаешься с прогулки. Наполеондоры свои зашей в пояс панталон, а главное, когда будешь покупать что-нибудь, не показывай всех денег: вынимай столько, сколько надо заплатить. Вот что мне горько: обдерут тебя как липку, непременно обдерут. А что ты без денег будешь делать? Ведь ты вести себя совсем не умеешь, – и так далее.

Добрая маркизантка говорила еще очень долго; капрал только кивками подтверждал все ее поучения, не успевая вставить ни слова. Вдруг густая толпа, двигавшаяся по большой дороге, сначала ускорила шаг, потом ринулась влево, через узкую придорожную канаву, и бросилась бежать по полю. «Казаки! Казаки!» – кричали со всех сторон.

– Бери назад свою лошадь! – крикнула маркизантка.

– Боже сохрани! – сказал Фабрицио. – Скачите, спасайтесь! Я вам дарю ее. Хотите, дам денег на новую повозку? Половина того, что у меня есть, – ваша.

– Говорят тебе, бери свою лошадь! – гневно кричала маркизантка и хотела было прыгнуть наземь. Фабрицио выхватил саблю.

– Держитесь крепче! – крикнул он, плашмя ударил два-три раза саблей по лошади, и та вскачь понеслась вслед за беглецами.

Герой наш поглядел на дорогу, по которой только что двигалось три или четыре тысячи человек густой толпой, как крестьяне за церковной процессией. От слова «казаки» дорога вмиг опустела, на ней не было ни души; беглецы побросали кивера, ружья, сабли и прочее снаряжение. Удивленный Фабрицио свернул вправо на распаханый пригорок, поднимав-

шийся над дорогой на двадцать – тридцать футов; он окинул взглядом всю дорогу и равнину, но не заметил и следа казаков. «Странные люди эти французы! – сказал он про себя. – Но раз мне все равно надо идти направо, то отчего бы не отправиться сейчас же, – подумал он. – Не знаю какая, но, верно, есть же причина, что они вдруг все побежали». Он подобрал с земли ружье, проверил, заряжено ли оно, подсыпал пороху на полку, почистил кремь, затем выбрал себе туго набитый подсумок и снова оглянулся по сторонам – он был совсем один на этой равнине, недавно такой людной. Далеко впереди все еще мчались без оглядки беглецы, постепенно исчезая за деревьями. «Вот, право, странно!» – думал он. И, вспомнив маневр, примененный накануне капралом, сел на землю посреди поля пшеницы. Он не хотел удаляться от дороги, так как надеялся увидеть своих друзей – маркизантку и капрала Обри.

Сидя в поле, он пересчитал деньги и убедился, что у него осталось не тридцать наполеондоров, как он думал, а только восемнадцать; но в запасе были еще маленькие бриллианты, которые он засунул за подкладку своих гусарских сапог в комнате тюремщицы в то утро, когда она выпустила его. Он тщательно запрятал наполеондоры и снова стал размышлять о причинах такого внезапного бегства. «Может быть, это дурное предзнаменование для меня?» – думал он. Но больше всего Фабрицио огорчился тем, что не спросил у капрала Обри, действительно ли он участвовал в сражении. Ему казалось, что да, и, будь он уверен в этом, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком.

«А все-таки, – думал он, – в сражении я был под именем какого-то арестанта, у меня в кармане его подорожная, и даже хуже – на мне его одежда. Это роковая примета для моего будущего. Что сказал бы аббат Бланес? Бедняга Було умер в тюрьме! Право, все это зловещие предзнаменования: судьба готовит мне тюрьму!» Фабрицио отдал бы все на свете, чтобы узнать, действительно ли гусар Було был виновен. Он стал припоминать: кажется, тюремщица в Б... говорила ему, что гусара посадили в тюрьму не только за кражу серебряных столовых ложек, но еще и за то, что он украл крестьянскую корову и до полусмерти избил ее хозяина. Фабрицио не сомневался, что и его также когда-нибудь заключат в тюрьму за преступление, которое чем-то будет похоже на вину гусара Було. Он думал о своем друге, аббате Бланесе. Ах, если б можно было посоветоваться с ним! Затем он вспомнил, что не писал своей тетке с тех пор, как уехал из Парижа. «Бедная Джина!» – подумал он, и слезы навернулись у него на глаза. Но вдруг он услышал неподалеку легкий шум: какой-то солдат, разнуздав трех лошадей, пустил их пастись в хлеба; лошади, видимо, умирали с голоду. Фабрицио взметнулся, как куропатка; солдат оторопел. Заметив это, наш герой поддался искушению разыграть на минутку роль гусара.

– Одна из этих лошадей принадлежит мне, мерзавец! – закричал он. – Но, так и быть, я дам тебе пять франков за то, что ты взял на себя труд привести ее сюда.

– Ты что? Смеешься надо мной? – сказал солдат.

Фабрицио прицелился в него на расстоянии шести шагов.

– Отдавай лошадь, а то застрелю!

У солдата ружье висело за спиной, он передернул плечами, чтобы достать его.

– Только пошевелись, крышка тебе! – крикнул Фабрицио и бросился к нему.

– Ну ладно, давайте пять франков и берите одну из трех, – смущенно сказал солдат, с грустью взглянув на опустевшую, безлюдную дорогу.

Фабрицио, высоко подняв ружье левой рукой, правой бросил ему три монеты по пяти франков.

– Слезай, если тебе жизнь дорога... Взнуздай вороную и убирайся подальше с двумя другими... Если заартачишься, – пристрелю.

Солдат, ворча, повиновался. Фабрицио подошел к лошади и взял поводья в левую руку, не спуская глаз с медленно удалявшегося солдата. Когда тот отошел шагов на пятьдесят, Фабрицио ловко вскочил на лошадь. Но едва он уселся в седло, еще не нащупав правой ногой

стремя, как услышал свист пролетевшей пули: солдат выстрелил в него из ружья. Фабрицио, вне себя от гнева, помчался в его сторону, но солдат побежал стремглав, и вскоре Фабрицио увидел, что он скачет на одной из оставшихся лошадей. «Ну, теперь его не догнать», – подумал Фабрицио. Купленная им лошадь оказалась отличной, но, видимо, была смертельно голодна. Фабрицио повернул к большой дороге, на которой по-прежнему не увидел ни души, пересек ее и рысцей пустил лошадь влево, к небольшой лощине, где надеялся найти марки-тантку. Однако, въехав на бугор, он на расстоянии целого лье вокруг увидел только одинокие фигуры солдат. «Значит, не суждено мне встретиться с этой доброй, славной женщиной!» – подумал он со вздохом. Вдалеке, справа от дороги, он заметил ферму и направился туда. Он заплатил деньги вперед и, не слезая с лошади, велел задать ей овса: бедняжка так изголодалась, что грызла ясли. Час спустя Фабрицио уже ехал по большой дороге, все еще смутно надеясь найти марки-тантку или хотя бы капрала Обри. Оглядываясь по сторонам, он ехал все дальше и добрался до болотистого берега какой-то речки, через которую был перекинут довольно узкий деревянный мост. Перед мостом, справа от дороги, одиноко стояла харчевня под вывеской «Белая лошадь». «Тут я пообедаю», – решил Фабрицио. У въезда на мост он заметил кавалерийского офицера с рукой на перевязи, понуро сидевшего на лошади; в десяти шагах от него трое пеших кавалеристов набивали трубки.

«Ну, эти люди, по-моему, способны купить у меня лошадь еще дешевле, чем она мне досталась», – подумал Фабрицио.

Раненый офицер и трое солдат смотрели на него, словно поджидали, чтобы он подъехал. «А зачем мне этот мост? – думал наш герой. – Лучше свернуть вправо и ехать берегом; марки-тантка, наверно, посоветовала бы мне выбрать именно этот путь, чтобы выйти из неприятного положения... Да, но если я обращаюсь в бегство, завтра мне будет бесконечно стыдно; к тому же у моей лошади быстрые ноги, а у того офицера лошадь, видно, усталая; если он вздумает ссадить меня с седла, я ускачу». Рассуждая таким образом, Фабрицио придерживал лошадь и ехал самым медленным шагом.

– Побыстрее подъезжайте, гусар! – повелительным тоном крикнул офицер.

Фабрицио проехал несколько шагов и остановился.

– Вы хотите отнять у меня лошадь? – крикнул он.

– Ни в коем случае! Подъезжайте.

Фабрицио посмотрел на офицера. У него были седые усы и вид самый честный. Косынка, которая поддерживала его левую руку, вся пропиталась кровью, правая рука тоже была обмотана окровавленной тряпкой. «Ну, не он, так солдаты схватят мою лошадь под уздцы», – подумал Фабрицио, но, приглядевшись, заметил, что солдаты тоже ранены.

– Во имя чести, – сказал ему офицер, на котором оказались полковничьи эполеты, – станьте здесь в карауле и говорите всем драгунам, конным егерям и гусарам, которых увидите, что вот в этой харчевне находится полковник Лебарон, и он приказывает им присоединиться к нему.

У старого полковника был скорбный, удрученный вид, и он с первых же слов завоевал симпатию нашего героя, который ответил ему, однако, весьма рассудительно:

– Меня не слушают, сударь. Я слишком молод. Тут необходим собственноручный ваш приказ.

– Он прав, – сказал полковник, внимательно глядя в Фабрицио. – Напиши приказ, Лароз, у тебя правая рука в целости.

Лароз молча вынул из кармана записную книжку с листками пергамента, написал несколько слов и, оторвав листок, передал его Фабрицио; полковник повторил последнему свое распоряжение и добавил, что, как полагается, через два часа его сменит один из трех раненых кавалеристов. Сказав это, он ушел со своими людьми в харчевню. Фабрицио смотрел им вслед, неподвижно застыв у въезда на мост, – так поразила его мрачная и безмолвная

скорбь трех раненых солдат. «Точно их околдовали злыми чарами», – думал он. Наконец он развернул сложенный вдвое листок и прочел следующий приказ:

«Полковник 6-го драгунского полка Лебарон, командир второй бригады Первой кавалерийской дивизии 14-го армейского корпуса, приказывает всем кавалеристам: драгунам, конным егерям и гусарам – не переезжать через мост и присоединиться к нему в его штаб-квартире, находящейся в харчевне «Белая лошадь».

Дано в штаб-квартире у Сентского моста.

19 июня 1815 г.

За полковника Лебарона, раненного в правую руку, и по его приказу
вахмистр Лароз».

Постояв в карауле у моста с полчаса, Фабрицио увидел шестерых конных егерей и трех пеших. Он объявил им приказ полковника.

– Мы сейчас вернемся, – сказали ему четверо конных и крупной рысью проехали через мост.

Фабрицио вступил в переговоры с двумя оставшимися верховыми. Поднялся горячий спор, а тем временем трое пеших егерей перешли через мост. Один из верховых потребовал, чтобы Фабрицио показал ему письменный приказ, и взял его, заявив:

– Я сейчас покажу его товарищам, и они обязательно вернуться. Ждите нас. Вернемся обязательно.

И он поскакал; его товарищ последовал за ним. Все это произошло в одно мгновение.

Взбешенный Фабрицио окликнул одного из раненых солдат, который показался в это время в окне харчевни. У этого солдата Фабрицио заметил нашивки вахмистра. Он вышел из харчевни и, подойдя к Фабрицио, крикнул:

– Саблю наголо! Вы же в карауле.

Фабрицио исполнил приказание, потом сказал:

– Они увезли приказ.

– Еще сердятся за вчерашнее сражение, – мрачно сказал вахмистр. – Я вам дам один из моих пистолетов. Если вас опять не будут слушаться, выстрелите в воздух – выбегу я или выйдет сам полковник.

Фабрицио отлично заметил, как вахмистр с удивлением поднял брови, услышав, что приказ увезли; он понял, что ему нанесено личное оскорбление, и дал себе слово больше не попасть впросак.

Вооружившись седельным пистолетом вахмистра, Фабрицио гордо занял свой пост и вскоре увидел, что к мосту приближаются верхом семь гусаров. Он загородил им дорогу и объявил приказ полковника. Гусары выказали явное недовольство, и самый смелый из них попытался проехать. Вспомнив мудрый совет своей приятельницы-маркитантки, говорившей, что надо колоть, а не рубить, Фабрицио опустил клинок своей длинной прямой сабли и сделал вид, что хочет острием нанести удар нарушителю приказа.

– А-а! Желторотый убить нас хочет! – закричали гусары. – Мало, что ли, наших вчера поубивали?

Все семеро выхватили сабли и бросились на Фабрицио; он подумал, что пришел его последний час, но вспомнил удивленный взгляд вахмистра и решил не давать нового повода для презрения. Отступая к мосту, он старался колоть нападающих клинком. Он так забавно размахивал длинным и прямым кирасирским палахом, слишком тяжелым для его руки, что

гусары скоро поняли, с кем имеют дело; они стремились теперь, не задевая его самого, изрезать на нем весь мундир. Три-четыре раза они оцарапали ему руку у плеча. А Фабрицио, следуя наставлениям маркитантки, с величайшим усердием старался колоть острием сабли. На свою беду, нанося удары, он и в самом деле ранил одного из верховых в кисть руки; гусар рассвирепел оттого, что его задел саблей такой молокосос, сделал выпад и ранил Фабрицио в бедро. Случилось это потому, что лошадь нашего героя не только не боялась схватки, но, видимо, находила в ней удовольствие и сама бросалась навстречу нападающим. А они, увидев, что у Фабрицио из правого плеча течет по рукаву кровь, и боясь, как бы игра не зашла слишком далеко, оттеснили его влево, к перилам, и ускакали. Едва только они оставили Фабрицио, как тот выстрелил в воздух, чтобы вызвать полковника.

В это время к мосту приближались четыре конных гусара и двое пеших – все из того же полка; когда раздался выстрел, они были еще в двухстах шагах и внимательно следили за тем, что происходило на мосту; вообразив, что Фабрицио выстрелил в их товарищей, четверо верховых выхватили сабли и помчались прямо на него; это была настоящая атака. Полковник Лебарон, предупрежденный выстрелом, открыл дверь харчевни, сам бросился к мосту в ту минуту, когда туда прискакали гусары, и приказал им остановиться.

– Нет здесь больше никаких полковников! – крикнул один из гусаров и прищпорил лошадь.

Полковник возмутился, прервал свою строгую речь и раненой правой рукой схватил его лошадь под уздцы.

– Стой, дрянной солдат! – крикнул он гусару. – Я тебя знаю, ты из эскадрона капитана Анрие.

– Ну и что ж! Пусть сам капитан отдает мне приказы! Капитана Анрие убили вчера, – добавил он, язвительно ухмыляясь, – а ты убирайся к...

Сказав это, он решил прорваться и направил лошадь на полковника, тот свалился на настил моста. Фабрицио, стоявший в двух шагах от него на мосту, но лицом к харчевне, увидел, как лошадь грудью толкнула полковника и тот упал, не выпуская из рук повода; в негодовании он пустил свою лошадь вперед и острием сабли нанес нападающему сильный прямой удар. К счастью, лошадь гусара, чувствуя, что ее тянет к земле повод, зажатый в руке полковника, дернулась в сторону, и длинное лезвие кирасирского палаша Фабрицио, скользнув по доломану гусара, только сверкнуло у самых его глаз; гусар в бешенстве повернулся, со всего размаха нанес удар, и клинок, разрезав рукав Фабрицио, глубоко вонзился ему в руку – наш герой упал.

Один из пеших гусаров, увидев, что оба защитника моста лежат на земле, воспользовался случаем, чтобы завладеть лошадью Фабрицио, и, вскочив в седло, галопом пустил ее к мосту.

Из харчевни выбежал вахмистр, увидел упавшего полковника и решил, что его тяжело ранили. Он погнался за похитителем лошади и всадил саблю ему в спину. Тот упал. Гусары, видя, что у моста остался только пеший вахмистр, пустили своих лошадей вскачь и умчались. Второй из пеших гусаров удрал в поле.

Вахмистр подошел к раненым. Фабрицио уже поднялся на ноги; он не чувствовал сильной боли, хотя потерял много крови. Полковник встал с трудом, он не был ранен, а лишь оглушен падением.

– Ничего! – сказал он вахмистру. – Только рука болит от старой раны.

Гусар, раненный вахмистром, умирал.

– А черт с ним! – крикнул полковник. – Позаботьтесь-ка лучше об этом юноше, которого я зря подвергнул опасности, – сказал он вахмистру и двум подбежавшим солдатам. – Я сам тут встану и постараюсь остановить этих бесноватых. Отведите юношу в харчевню и перевяжите ему руку – возьмите для этого рубашку из моего белья.

V

Все это произошло в одну минуту. Раны Фабрицио оказались нетяжелыми; ему перевязали руку, разрезав на бинты рубашку полковника. Постель ему хотели устроить во втором этаже харчевни.

– Но пока я буду нежиться наверху, – сказал Фабрицио вахмистру, – моей лошади станет скучно одной в конюшне, и она уйдет с другим хозяином.

– Неплохая смекалка для новобранца, – сказал вахмистр.

И Фабрицио уложили на свежей соломе прямо в яслях, к которым была привязана его лошадь.

Он чувствовал большую слабость, поэтому вахмистр принес ему мисочку подогретого вина, а затем остался побеседовать с ним. В разговоре он несколько раз похвалил нашего героя, и тот вознесся на седьмое небо.

Фабрицио проснулся только на рассвете; лошади протяжно ржали, бились и топали; конюшня была полна дыма. Сперва Фабрицио не мог понять, откуда этот шум, не соображал даже, где он находится; наконец, едва не задохнувшись от дыма, он догадался, что дом горит. Вмиг он был уже во дворе и сидел на лошади. Он поднял голову: дым валил из двух окон над конюшней, черные его клубы затягивали крышу и кружились вихрем. За ночь в харчевню «Белая лошадь» набралось не меньше сотни беглецов, все кричали и ругались. Пять-шесть человек, которых успел разглядеть Фабрицио, явно были совсем пьяны; один из них хотел задержать его и кричал: «Куда ты ведешь мою лошадь?»

Проскакав четверть лье, Фабрицио обернулся и увидел, что за ним никто не гонится. Дом пылал. Фабрицио узнал мост, вспомнил о своей ране и только тогда почувствовал, как горит рука и больно стягивает ее перевязка. «А что случилось со стариком полковником? Он отдал свою рубашку, чтобы мне перевязали руку». Но в это утро наш герой проявлял удивительное хладнокровие: большая потеря крови избавила его от романических свойств характера.

«Направо! – сказал он себе. – Подальше отсюда!» Он спокойно поехал берегом реки, которая ниже моста поворачивала вправо от дороги. Ему вспомнились советы доброй маркизантки. «Какой друг! – думал он. – Какая открытая душа!»

Проехав около часу, он вдруг ослаб. «Что это? Неужто в обморок упаду? – думал он. – Если я потеряю сознание, у меня украдут лошадь да, пожалуй, еще и разденут, и тогда прощай моя казна!» У него уже не хватало сил править лошадью, он только старался как-нибудь удержаться в седле; какой-то крестьянин, вскапывавший поле около дороги, заметил его бледность и, подойдя к нему, дал ему стакан пива и кусок хлеба.

– Поглядел я на вас, – сказал крестьянин, – и думаю: «Бледный какой! Видно, из тех, что были вчера ранены в большом сражении».

Помощь пришла как нельзя более кстати. Когда Фабрицио поднес хлеб ко рту, у него уже было темно в глазах. Подкрепившись, он поблагодарил крестьянина и спросил:

– Где я сейчас?

Крестьянин ответил, что отсюда меньше лье до городка Зондерс, где ему окажут всякую помощь. Фабрицио добрался до этого городка, почти ничего не сознавая и думая только о том, как бы не упасть с лошади. Увидев широко открытые ворота, он въехал в них: это был трактир «Скребница». Тотчас из дому выбежала хозяйка, добрая толстуха необъятных размеров; дрожащим от жалости голосом она позвала на помощь. Две молодые девушки помогли Фабрицио слезть с лошади, и едва он ступил на землю, как сразу же лишился чувств. Позвали хирурга, тот пустил ему кровь. В течение нескольких дней Фабрицио не чувствовал, что с ним делают: он почти все время был в забытьи.

Колотая рана в бедре угрожала нагноением. Минутами Фабрицио приходил в сознание, тогда он просил позаботиться о его лошади и все твердил, что хорошо заплатит, – это обижало добрую хозяйку и ее дочерей. Уход за ним был прекрасный, и через две недели он мало-помалу начал поправляться, как вдруг однажды вечером заметил, что у его хозяек очень встревоженный вид. Вскоре в его комнату вошел немецкий офицер; немец о чем-то спрашивал, и ему отвечали на языке, незнакомом Фабрицио, но он сразу догадался, что речь идет о нем, и притворился спящим. Через некоторое время, решив, что офицер уже ушел, он позвал хозяек.

– Зачем приходил этот офицер? Меня хотят внести в список военнопленных и арестовать?

Хозяйка со слезами на глазах подтвердила это.

– Послушайте, у меня в доломане спрятаны деньги! – воскликнул он, приподнявшись на постели. – Купите мне штатское платье, и нынче же ночью я уеду верхом на своей лошади. Один раз вы уже спасли мне жизнь, приютив меня в тот день, когда я мог упасть и умереть на улице. Спасите меня еще раз! Помогите мне вернуться к матери!

Тут обе дочери хозяйки расплакались: они боялись за Фабрицио; а так как они плохо понимали по-французски, то подошли к постели и принялись расспрашивать его. Потом они стали о чем-то спорить с матерью по-фламандски и поминутно обращали на Фабрицио жалостливый взгляд; он понял, что его бегство может сильно повредить им, но они готовы подвергнуть себя опасности ради него. Он горячо поблагодарил их, прижав руки к груди. Еврей, проживавший в этом городке, раздобыл для него всю необходимую одежду и доставил ее в десять часов вечера; но когда хозяйские дочери сравнили принесенный сюртук с доломаном Фабрицио, то увидели, что его необходимо ушить. Обе немедленно принялись за работу: времени нельзя было терять. Фабрицио показал, где у него спрятаны золотые, и попросил зашить их в купленную для него одежду. Вместе с платьем еврей принес и пару превосходных новых сапог. Фабрицио без малейших колебаний попросил славных девушек разрезать его гусарские сапоги в местах, которые он укажет, и бриллианты были спрятаны за подкладку новых сапог.

Большая потеря крови и слабость, которую это вызвало, привели к странному явлению: Фабрицио почти совсем забыл французский язык; он обращался к своим хозяйкам по-итальянски, а они говорили только на фламандском наречии, – словом, собеседники понимали друг друга лишь с помощью жестов. Когда девушки увидели бриллианты, то обе, хотя и были совершенно бескорыстны, пришли в безмерный восторг: они приняли Фабрицио за переодетого принца. Младшая и более наивная из двух сестер, Аникен, в простоте душевной расцеловала Фабрицио. Он же, со своей стороны, находил обеих сестер прелестными, и в полночь, когда хирург позволил ему для подкрепления сил перед дальней дорогой выпить немного вина, ему почти не хотелось уезжать. «Где мне будет лучше, чем здесь?» – думал он. Все же около двух часов ночи он встал и оделся. Но, выходя из комнаты, он узнал от доброй хозяйки, что его лошадь увел тот самый офицер, который несколько часов назад осматривал дом.

– Ах, мерзавец! – выругался Фабрицио. – Ограбил раненого!

Юный итальянец не был философом: он даже не вспомнил, как он сам приобрел эту лошадь.

Аникен, проливая слезы, сказала, что для него наняли лошадь. Ей жаль было расстаться с ним. Прощание было очень нежным. Два рослых молодца, родственники доброй хозяйки, подняли Фабрицио и посадили в седло; дорогой они поддерживали его, чтобы он не упал с лошади, а третий провожатый шел на несколько сот шагов впереди маленького каравана и смотрел, нет ли на дороге подозрительных патрулей. Часа через два они сделали остановку в доме, принадлежавшем двоюродной сестре хозяйки «Скребницы». Как Фабрицио ни уго-

варивал своих спутников распрощаться с ним, они не согласились, заявив, что никто лучше их не знает лесных дорог и тропинок.

– Но завтра утром станет известно, что я бежал, а когда увидят, что и вас нет в городе, ваше отсутствие вам очень повредит! – говорил Фабрицио.

Снова пустились в путь. К счастью, на рассвете равнину затянул густой туман. К восьми часам утра прибыли в маленький городок. Один из молодых людей пошел узнать, не угнал ли неприятель почтовых лошадей. Оказалось, что смотритель станции успел их спрятать, а в конюшню поставил жалких кляч, которых где-то раздобыл. Отправились отыскивать лошадей в болотах, куда они были отведены, и через три часа Фабрицио, к которому вернулись силы, сел в дрянной кабриолет, запряженный, однако, парой хороших почтовых лошадей. Минута прощания с молодыми людьми, родственниками хозяйки, была глубоко трогательной. Как ни старался Фабрицио найти удобный предлог, чтобы заплатить им, они отказались взять с него деньги.

– Вам, сударь, сейчас деньги нужнее, чем нам, – твердили эти славные люди.

Наконец они отправились в обратный путь. Фабрицио, несколько возбужденный от дорожных волнений, послал с ними письма, в которых пытался излить все свои чувства к добрым хозяевам. Он писал со слезами на глазах, и, несомненно, в его письме к юной Аникен сквозила любовь.

Весь остальной его путь прошел без особых приключений. Прибыв в Амьен, он стал чувствовать сильную боль от колотой раны в бедре; деревенский лекарь не позаботился хорошенько прочистить рану, и, несмотря на кровопускания, в ней образовался гнойник. За две недели, проведенные Фабрицио в гостинице, которую содержало жадное и льстивое семейство, союзники захватили Францию, а Фабрицио столько думал обо всем происшедшем, что стал как бы другим человеком. Он остался ребенком только в одном отношении: ему очень хотелось знать, было ли то, что он видел, действительно сражением и было ли это сражение битвой при Ватерлоо. Впервые в жизни чтение доставляло ему удовольствие: он все надеялся отыскать в газетах или в рассказах об этой битве описание тех мест, по которым он проезжал в свите маршала Нея и другого генерала. Из Амьена он почти каждый день писал своим милым приятельницам, хозяйкам «Скребницы». Выздоровев, он немедленно переехал в Париж и в своей прежней гостинице нашел десятка два писем от матери и тетки, в которых обе они умоляли его поскорее вернуться. Последнее письмо графини Пьетранера содержало какие-то таинственные намеки, очень его встревожившие. Письмо это прогнало прочь все его нежные мечтания. При его складе характера достаточно было одного слова, чтобы он увидел впереди величайшие бедствия для себя, а дальше начинало работать воображение и рисовало ему ужасающие подробности этих бедствий.

«Ни в коем случае не подписывай письма, в которых подаешь нам вести о себе, – писала графиня. – Ни в коем случае не приезжай прямо на озеро Комо: остановись в Лугано, на швейцарской территории». В этот городок он должен приехать под фамилией Кави; в лучшей гостинице его встретит бывший лакей графини, который передаст ему на словах, что делать дальше. Письмо кончалось следующими строками: «Всячески скрывай свой безумный поступок и, главное, не носи при себе никаких бумаг – ни печатных, ни рукописных: в Швейцарии ты будешь окружен друзьями св. Маргариты¹². Если у меня будут деньги, – писала графиня, – я пошлю кого-нибудь в Женеву, в гостиницу «Весы», и тогда тебе сообщат кое-какие подробности, о которых я не могу писать, а между тем тебе необходимо узнать их до твоего возвращения. Но, ради бога, не задерживайся ни одного дня в Париже: тебя опознают там наши шпионы».

¹² Благодаря г-ну Пеллико это наименование приобрело европейскую известность: так называется в Милане улица, где находятся здание полиции и тюрьма. – *Примеч. автора.*

Воображение Фабрицио начало рисовать ему самые фантастические вещи, и его занимало теперь только одно: о каких загадочных обстоятельствах хотела сообщить ему тетка. Он немедленно выехал из Франции; дорогой до границы его два раза арестовывали, но он сумел выпутаться; этими неприятностями он был обязан своему итальянскому паспорту и странному званию «торговец барометрами», совсем не подходившему человеку с таким юным лицом и рукой на перевязи.

Наконец он прибыл в Женеву, встретился со слугой своей тетки, и тот сообщил, по ее поручению, что в миланскую полицию донесли, что Фабрицио был послан к Наполеону с какими-то предложениями от тайного общества заговорщиков, существующего в бывшем Итальянском королевстве. «Если цель его путешествия была иной, – говорилось в доносе, – зачем же он принял чужую фамилию?» Маркиза дель Донго пытается доказать истину, а именно: 1) что Фабрицио никуда не уезжал из Швейцарии; 2) что он неожиданно уехал из замка, поссорившись со своим старшим братом.

Фабрицио с гордостью слушал этот рассказ. «Значит, меня почитают чем-то вроде посла при Наполеоне!.. – думал он. – Мне будто бы выпала честь говорить с этим великим человеком! Вот дал бы бог!» Он вспомнил, что его предок в седьмом колене – внук дель Донго, прибывшего в Милан в свите Сфорца, удостоился чести быть обезглавленным, ибо враги герцога захватили его, когда он пробирался в Швейцарию для переговоров с кантонами относительно вербовки солдат. Перед глазами Фабрицио встала гравюра в родословной дель Донго, изображавшая это событие. Расспрашивая лакея, Фабрицио узнал одну подробность, о которой тот в порыве негодования рассказал вопреки неоднократным запретам графини: донос в миланскую полицию сделал его старший брат Асканьо. Это страшное известие привело в исступление нашего героя. Путь из Женевы в Италию идет через Лозанну; Фабрицио решил отправиться немедленно и проделать пешком переход в десять или двенадцать лье, хотя самое большее через два часа в Лозанну должен был выехать дилижанс. В Женеве, в одной из унылых швейцарских кофеен, он на прощание затеял ссору с каким-то молодым человеком, который, как заявил Фабрицио, «весьма странно» смотрел на него. Это было совершенно верно – молодой обыватель Женевы, человек флегматичный, положительный и помышлявший только о деньгах, принял его за сумасшедшего: Фабрицио бросал на всех сидевших в кофейне свирепые взгляды и пролил на свои панталоны чашку кофе, которую ему подали. В этой ссоре первый порыв Фабрицио был вполне в духе XVI века: вместо того чтобы завести речь о дуэли, он выхватил кинжал и бросился на молодого женева с намерением заколоть его. В пылу возмущения Фабрицио позабыл все преподанные ему правила чести: в нем заговорил инстинкт или, вернее, воспоминания детства.

Доверенный человек графини, с которым он встретился в Лугано, еще более разжег его ярость, сообщив ему новые подробности. Фабрицио любили в Грианте, никто там не проговорился, все притворялись, будто верят, что он уехал в Милан, и, если б не любезная помощь брата, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на его отсутствие.

– Таможенной страже наверняка сообщили ваши приметы, – сказал Фабрицио посланец его тетки. – Если мы пойдем по большой дороге, на границе Ломбардо-Венецианского королевства вас арестуют.

Фабрицио и его спутники прекрасно знали каждую тропинку в горах, отделяющих Лугано от озера Комо; они оделись охотниками, иначе говоря – контрабандистами, а так как их было трое и выражение лиц было у них довольно решительное, стражники, повстречавшиеся им, только поздоровались с ними. Фабрицио постарался явиться в замок лишь около полуночи, – в этот час его отец и все лакеи с пудренными волосами уже давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров и пробрался в замок через подвальное окошко; в подвале его уже ждали мать и тетка, вскоре прибежали сестры. Долго чередовались восторги,

нежности, слезы, а когда пятеро счастливых, не веривших своему счастью, обрели наконец способность говорить рассудительно, первые проблески зари указали им, что время летит.

– Надеюсь, твой брат не догадывается, что ты вернулся, – сказала графиня Пьетранера. – После его благородного поступка я перестала с ним разговаривать, и, к великой моей чести, это уязвило его самолюбие. Нынче вечером я удостоила его беседой: мне нужен был какой-нибудь предлог, чтобы скрыть свою безумную радость, иначе она могла вызвать у него подозрения. Заметив, как он гордится нашим мнимым примирением, я воспользовалась его веселым расположением духа и за ужином подпоила его – сегодня он не вздумает притаиться где-нибудь в засаде и шпионить по своему обычаю.

– Нашего гусара надо спрятать у тебя в комнате, – сказала маркиза, – ему нельзя сейчас уехать. От волнения мы не можем собраться с мыслями, а ведь надо придумать, как нам перехитрить эту ужасную миланскую полицию.

Так и было сделано; но на другой день маркиз и его старший сын заметили, что маркиза безвыходно сидит в комнате золовки. Мы не будем останавливаться на описании порывов нежности и радости, которым все еще предавались эти создания, чувствовавшие себя теперь вполне счастливыми. Сердца итальянцев гораздо более, чем наши, терзаются подозрениями и безумными фантазиями, порожденными пылким воображением, зато и радость они переживают сильнее и дольше, чем мы. В тот день графиня и маркиза как будто лишились рассудка. Фабрицио пришлось еще раз рассказать о всех своих приключениях. Наконец решено было отправиться в Милан, чтоб укрыть там свою радость, – настолько им казалось трудным таить ее дольше от надзора самого маркиза и его сына Асканьо.

Добраться до Комо решили на своей лодке – иной способ вызвал бы тысячи подозрений. Но когда причалили к пристани в Комо, маркиза вдруг вспомнила, что позабыла в Грианте весьма нужные ей бумаги, и поспешила послать за ними гребцов, поэтому они не могли никому рассказать, как провели обе дамы время в этом городе. А они тотчас по прибытии наняли одну из колясок, которые поджидают седоков у высокой средневековой башни, возвышающейся над воротами миланской заставы. Из города выехали тотчас же, так что кучер не успел ни с кем и словом перемолвиться. Проехав с четверть лье, дамы встретили знакомого молодого охотника, и тот, видя, что они едут без спутника, любезно предложил проводить их до ворот Милана, так как сам собирался поохотиться в его окрестностях. Все шло отлично, и дамы превесело разговаривали с молодым путешественником, как вдруг на том повороте, где дорога огибает очаровательный лесистый холм Сан-Джованни, три переодетых жандарма схватили лошадей под уздцы.

– Ах, муж выдал нас! – воскликнула маркиза и лишилась чувств.

Жандармский вахмистр, стоявший немного поодаль, подошел, пошатываясь, к экипажу и сказал пьяным голосом:

– Весьма огорчен возложенным на меня поручением, но вынужден вас арестовать, генерал Фабио Конти.

Фабрицио решил, что вахмистр в насмешку назвал его генералом. «Я тебе отплачу за это», – сказал он про себя. Он смотрел на переодетых жандармов, выжидая удобной минуты, чтобы выпрыгнуть из коляски и бежать через поле.

Графиня, улыбаясь на всякий случай, сказала вахмистру:

– Что это вы, любезный! Неужели вы принимаете за генерала Конти вот этого шестнадцатилетнего мальчика?

– А вы разве не дочь генерала? – спросил вахмистр.

– Посмотрите хорошенько на моего отца, – сказала графиня, указывая на Фабрицио.

Жандармы захохотали во все горло.

– Прошу не рассуждать! Предъявите паспорта!.. – потребовал вахмистр, обиженный всеобщей веселостью.

– Наши дамы не берут с собой паспортов, когда едут в Милан, – с невозмутимым спокойствием сказал кучер. – Они едут из своего поместья Грианта. Вот эта дама – графиня Пьетранера, а та – маркиза дель Донго.

Огорошенный вахмистр подошел к жандармам, державшим под уздцы лошадей, и стал совещаться с ними. Совещание длилось минут пять, но графиня прервала его, попросив, чтобы кучеру разрешили проехать несколько шагов и поставить коляску в тень. Солнце палило нещадно, хотя было только одиннадцать часов утра. Фабрицио зорко поглядывал во все стороны, отыскивая путь к бегству, и увидел, как полевой тропинкой на пыльную большую дорогу вышла молоденькая девушка лет четырнадцати-пятнадцати, которая тихонько плакала, закрыв лицо платком. Она шла между двумя жандармами в мундирах, а за нею, также под конвоем двух жандармов, с подчеркнутой важностью выступал сухопарый высокий человек, словно префект в торжественной процессии.

– Где это вы их нашли? – спросил вахмистр, которого совсем разобрал хмель.

– Бежали через поле, и паспортов никаких при них нет.

Вахмистр, видимо, совсем потерял голову: вместо двух пленников, которых надобно было захватить, у него оказалось целых пять. Он отошел со своим штабом на несколько шагов, оставив только двух человек: одного, чтобы стеречь величественного арестанта, и другого – держать лошадей.

– Остайся! – шепнула графиня Фабрицио, видя, что он выскочил из коляски. – Все обойдется.

Слышно было, как один из жандармов кричал:

– Все равно! Паспортов у них нет? Нет. Значит, правильно мы их задержали.

У вахмистра, казалось, не было такой уверенности – фамилия графини Пьетранера встревожила его: он знал графа Пьетранеру, но о смерти графа ему не было известно.

«Генерал не такой человек, чтоб простить обиду, если я нехстати арестую его жену!» – думал он.

Во время этого долгого обсуждения графиня завязала разговор с молодой девушкой, стоявшей около коляски на пыльной дороге, – графиню поразила ее красота.

– У вас заболит голова от солнца, сударыня. Этот славный солдат, – добавила она, посмотрев на жандарма, державшего лошадей, – конечно, позволит вам сесть в коляску.

Фабрицио, который бродил вокруг экипажа, подошел, чтобы помочь девушке. Он поддерживал ее под руку, и девушка уже ступила на подножку, как вдруг ее величественный спутник, стоявший в шести шагах от коляски, крикнул сиплым от важности басом:

– Стойте на дороге, неприлично садиться в чужой экипаж.

Фабрицио не расслышал этого приказа. Девушка сразу повернулась и спрыгнула с подножки, а так как Фабрицио все еще поддерживал ее, она упала в его объятия. Он улыбнулся, она густо покраснела, и, когда соскользнула на землю, они еще одно мгновение глядели друг на друга.

«У меня была бы очаровательная подруга в тюрьме! – подумал Фабрицио. – Какая глубина мысли начертана на ее челе!.. Она рождена для большой любви».

Подошел вахмистр и спросил властным тоном:

– Которая из дам Клелия Конти?

– Я, – ответила девушка.

– А я генерал Фабио Конти! – воскликнул важный старик. – Я камергер его высочества принца Пармского. Я считаю просто недопустимым, чтобы с человеком моего звания обращались словно с каким-нибудь вором.

– Позавчера, когда вы сели в лодку на пристани, в Комо, вы послали к черту инспектора полиции за то, что он потребовал у вас паспорт. А сегодня он вас пошлет прогуляться под конвоем.

– Мы тогда уже отплыли от берега, я спешил, потому что надвигалась гроза. Какой-то человек в штатском крикнул мне с пристани, чтобы я вернулся, я ему назвал себя, и мы поплыли дальше.

– А нынче утром вы убежали из Комо.

– Люди моего звания не берут паспортов, когда едут из Милана посмотреть на озеро. Сегодня утром в Комо мне сказали, что на заставе меня арестуют. Я вышел из города пешком вместе с дочерью, надеясь встретить на дороге какой-нибудь экипаж, который довезет меня до Милана, а там я немедленно подам жалобу генерал-губернатору провинции.

У вахмистра, видимо, гора с плеч свалилась.

– Ну, генерал, вы арестованы, и я отвезу вас в Милан. А вы кто такой? – спросил он Фабрицио.

– Мой сын, – ответила графиня. – Асканьо, сын дивизионного генерала Пьетранеры.

– Без паспорта, графиня? – спросил вахмистр, сразу смягчившись.

– Он так молод, что еще не брал паспорта. Он никогда не путешествует один, а только со мной.

Во время этого разговора генерал пререкался с жандармами, выказывая все более и более оскорбленное достоинство.

– Зачем столько слов тратить? – сказал один из жандармов. – Вы арестованы. И basta.

– Скажите еще спасибо, – заметил вахмистр, – что мы разрешаем вам нанять у какого-нибудь крестьянина лошадь, а то, несмотря на пыль и жару и на ваше камергерское звание, пришлось бы вам шагать пешком, а мы ехали бы по бокам у вас на лошадках.

Генерал начал браниться.

– Эй, замолчи лучше! – оборвал его жандарм. – Где твой генеральский мундир? Этак всякий проходимец может назваться генералом.

Генерал совсем вышел из себя. А в коляске тем временем дела шли превосходно.

Графиня уже распоряжалась жандармами, словно своими слугами. Она дала эку одному из них и послала его в таверну, видневшуюся в двухстах шагах, велев принести оттуда вина и, главное, холодной воды. Улучив минутку, она успокоила Фабрицио, который упорно хотел бежать в лес, покрывавший холм. «У меня хорошие пистолеты», – говорил он. От разгневанного генерала графиня добилась, чтобы он разрешил дочери сесть в коляску. По этому поводу генерал, любивший поговорить о себе и своей родне, сообщил дамам, что его дочери только двенадцать лет, ибо она родилась 27 октября 1803 года, но она такая умница, что все дают ей четырнадцать и даже пятнадцать лет.

«Какой ограниченный человек!» – говорили глаза графини и маркизы. Благодаря графине все уладилось после переговоров, тянувшихся целый час. У одного из жандармов вдруг оказалось какое-то дело в соседней деревне, и, когда графиня сказала ему: «Вы получите десять франков», – он уступил свою лошадь генералу Конти.

Вахмистр уехал с генералом, а все остальные жандармы расположились под деревом в компании четырех огромных оплетенных бутылей, которые принес с помощью крестьянина жандарм, посланный в таверну. Достойный камергер разрешил Клелии Конти занять место в коляске любезных дам, чтобы возвратиться в Милан, а сына храброго генерала Пьетранеры никто и не подумал арестовать. В пути, после первых минут, посвященных обмену учтивыми словами и обсуждению нежданного происшествия, Клелия Конти заметила, что графиня, такая красавица, смотрит на Фабрицио восторженным взглядом, – разумеется, она не мать ему. Особенно же пробудили в ней любопытство неоднократные намеки на какой-то героический, отважный и в высшей степени опасный поступок, который он недавно совершил; но при всем своем уме юная Клелия не могла угадать, о чем шла речь.

Она с удивлением рассматривала юного героя, и ей казалось, что его глаза еще горят огнем недавних подвигов. А он был несколько смущен необыкновенной красотой этой двенадцатилетней девочки, красневшей от его восхищенных взглядов.

Не доезжая одного лье до Милана, Фабрицио сказал, что хочет навестить своего дядю, и простился с дамами.

– Если я выпутаюсь из этой истории, – сказал он Клелии, – я приеду в Парму полюбоваться прекрасными картинами в ее галереях. Удостойте запомнить мое имя: Фабрицио дель Донго.

– Отлично! – воскликнула графиня. – Вот как ты умеешь хранить свое инкогнито! Сударыня, удостоите, пожалуйста, запомнить, что этот гадкий мальчик – мой сын и фамилия его – Пьетранера, а вовсе не дель Донго.

Вечером, очень поздно, Фабрицио вошел в Милан через ворота Ренца, которые ведут к бульвару, модному месту прогулок. Отправка двух слуг в Швейцарию истощила скудные сбережения маркизы и ее золовки, но, к счастью, у Фабрицио еще осталось несколько наполеондоров и один бриллиант, который решено было продать.

Обеих дам в городе знали и любили. Самые влиятельные и благочестивые особы из австрийской партии стали хлопотать за Фабрицио перед бароном Биндером, начальником полиции. Эти господа, по их заверениям, не понимали, как можно принять всерьез выходку шестнадцатилетнего мальчика, который поссорился со старшим братом и убежал из родительского дома.

– Моя обязанность все принимать всерьез, – кротко ответил Биндер, человек благоумный и унылый. Он в ту пору учредил пресловутую миланскую полицию и поставил своей задачей предотвратить революцию, подобную той, что в 1746 году изгнала австрийцев из Генуи. Миланская полиция, которую приключения гг. Пеллико и Андриана сделали знаменитой, не была жестокой в точном смысле этого слова: она методически и безжалостно следовала суровым законам. Император Франц II хотел потрясти ужасом пламенное воображение итальянцев.

– Представьте мне *засвидетельствованные показания* о том, что делал юный маркизино дель Донго, – твердил барон Биндер покровителям Фабрицио, – да, день за днем, начиная с восьмого марта, когда он уехал из Грианты, и до вчерашнего вечера, когда он явился в Милан, где теперь скрывается в одном из покоев своей матери, – и я готов считать его самым милым проказником среди всех молодых людей этого города. Если же вы не можете указать мне в точности ежедневное его местопребывание со времени отъезда из Грианты, то, невзирая на его высокое происхождение и на все мое уважение к друзьям его семьи, мой долг – арестовать его. И мне придется держать его в тюрьме до тех пор, пока мне не представят доказательств, что он вовсе не ездил к Наполеону с поручением от тех немногих недовольных, которые, возможно, имеются в Ломбардии среди подданных его императорского и королевского величества. Заметьте также, господа, что если молодому дель Донго и удастся отклонить от себя это обвинение, он все же, бесспорно, виновен в том, что отправился за границу, не испросив предписанного законом паспорта, под чужим именем, преднамеренно воспользовавшись паспортом простого ремесленника, то есть человека, принадлежащего к неизмеримо более низкому общественному классу, чем его собственный.

Это неумолимо логическое разъяснение было сделано начальником полиции со всей учтивостью и почтительностью, какой требовало общественное положение маркизы дель Донго и ее высокопоставленных заступников.

Маркиза пришла в отчаяние, когда ей сообщили ответ барона Биндера.

– Фабрицио арестуют! – воскликнула она и залилась слезами. – А если его посадят в тюрьму, бог знает, когда он выйдет оттуда! Отец отречется от него.

Г-жа Пьетранера и ее невестка собрали на совет двух-трех близких друзей; вопреки их уговорам маркиза настаивала, чтобы ее сын уехал в ту же ночь.

– Но ты же видишь, – говорила графиня, – барон Биндер знает, что твой сын находится здесь; он совсем не злой человек.

– Не злой, но он хочет угодить императору Францу.

– Однако если бы барон считал полезным для своей карьеры посадить Фабрицио в тюрьму, он уже сделал бы это. Устроить побег Фабрицио значило бы выказать барону оскорбительное недоверие.

– Но когда он намекал, что ему известно, где сейчас прячется Фабрицио, он этим ясно говорил нам: «Увезите его!» Нет, я не могу жить с постоянной мыслью: «Через четверть часа моего сына, может быть, заточат в тюрьму!» Каковы бы ни были честолюбивые цели барона Биндера, – добавила маркиза, – ему в интересах своего личного положения в нашей стране выгодно подчеркивать, что он считается с людьми такого ранга, как мой муж, и доказательство этого – удивительная откровенность, с которой он сообщил, что знает, где можно застигнуть моего сына. Мало того, с необычайной любезностью он точно изложил, в каких двух преступлениях обвиняют Фабрицио по доносу его недостойного брата, и объяснил, что за каждое из этих преступлений грозит тюрьма, разве этим он не сказал нам: «Может быть, вы предпочтете изгнание? Выбирайте сами».

– Если ты выберешь изгнание, – твердила графиня, – мы больше никогда в жизни не увидим Фабрицио.

Фабрицио, присутствовавший при этих переговорах вместе с одним из старых друзей маркизы, в ту пору советником трибунала, учрежденного Австрией, решительно высказал намерение бежать; и в тот же вечер он выехал из дворца, спрятавшись в карете, которая повезла в театр Ла Скала его мать и тетку. Кучеру не доверяли, но когда он отправился, как обычно, посидеть в кабачке, а лошадей остался стеречь лакей, человек надежный, Фабрицио, переодетый крестьянином, выскочил из кареты и ушел из города. На следующий день он так же благополучно перешел границу и через несколько часов приехал в пьемонтское поместье своей матери, находившееся близ Новары – в Романьяно, где был убит Баярд.

Легко представить себе, как внимательно графиня и ее невестка слушали оперу, сидя в ложе театра Ла Скала. Они отправились туда лишь для того, чтобы посоветоваться с друзьями, принадлежавшими к либеральной партии, ибо полиция могла косо взглянуть на их появление во дворце дель Донго. Решено было еще раз обратиться к барону Биндеру; о подкупе не могло быть и речи, – этот сановник был человек вполне честный, и к тому же обе дамы совсем обеднели, – они заставили Фабрицио взять с собою все деньги, оставшиеся от продажи бриллиантов.

Однако очень важно было узнать последнее слово барона. Друзья напомнили графине о некоем канонике Борде, весьма любезном молодом человеке, который когда-то ухаживал за ней и поступил довольно гадко: не добившись успеха, он донес генералу Пьетранере о ее дружбе с Лимеркати и за это был изгнан из дома, как негодяй. Но теперь этот каноник каждый вечер играл в тарок с баронессой Биндер и, конечно, был близким другом ее мужа. Графиня решила, как это ни было для нее тягостно, посетить каноника и на следующее утро, в ранний час, когда он еще не выходил из дому, приказала доложить о себе.

Когда единственный слуга каноника произнес имя графини Пьетранера, тот от волнения лишился голоса и даже позабыл исправить беспорядок своего домашнего туалета, довольно небрежного.

– Попросите пожаловать и убирайтесь вон, – сказал он слабым голосом.

Графиня вошла; Борда бросился на колени.

– Только на коленях несчастный безумец должен выслушать ваши приказания, – сказал он.

В то утро, одетая с нарочитой простотой, чтобы не привлекать к себе внимания, Джина Пьетранера была неотразима. Глубокая скорбь, вызванная изгнанием Фабрицио, насилие над собой, которое она совершила, решившись прийти к человеку, подло поступившему с ней, – все это зажгло ослепительным огнем ее глаза.

– На коленях хочу я выслушать ваши приказания! – воскликнул каноник. – Несомненно, вы желаете попросить меня о какой-нибудь услуге, иначе вы не почтили бы своим посещением убогий дом несчастного безумца. Когда-то, пылая любовью и ревностью, отчаявшись завоевать ваше сердце, я гнусно поступил с вами.

Слова эти были искренни и тем более благородны, что теперь каноник пользовался большой властью; графиню они тронули до слез; унижение, страх леденили ее душу, и вот в один миг их сменили умиление и проблеск надежды. Только что она была глубоко несчастна и вдруг почувствовала себя почти счастливой.

– Поцелуй мою руку, – сказала она канонику, – и встань. (Надо помнить, что в Италии обращение на ты свидетельствует об искренней дружбе, так же как говорит о чувстве более нежном.) Я пришла попросить тебя о помиловании моего племянника Фабрицио. Я расскажу тебе, как старому своему другу, всю правду без утайки. Фабрицио шестнадцать с половиной лет, он недавно совершил неслыханное безумство. Мы были в поместье Грианта, на берегу озера Комо. Однажды в семь часов вечера лодка из Комо доставила нам известие о высадке императора в бухте Жуан. На другое же утро Фабрицио отправился во Францию, раздобыв себе паспорт у своего приятеля, какого-то простолюдина по фамилии Вази, который торгует барометрами. Наружность у Фабрицио совсем не подходящая для торговца барометрами, и, едва он проехал по Франции десять лье, его арестовали: его восторженные речи на плохом французском языке показались подозрительными. Через некоторое время он бежал и добрался до Женевы; мы послали навстречу ему в Лугано...

– В Женеву, хотите вы сказать, – улыбаясь, поправил ее каноник.

Графиня закончила свой рассказ.

– Для вас я сделаю все, что доступно силам человеческим, – с жаром сказал каноник. – Я всецело в вашем распоряжении. Я даже готов пойти на безрассудства. Укажите, что мне надо делать с этой минуты, когда из этой жалкой гостиной исчезнет небесное видение, озарившее мою жизнь.

– Пойдите к барону Биндеру, скажите ему, что вы любите и знаете Фабрицио со дня его рождения, что он рос у вас на глазах, так как вы постоянно бывали в нашем доме; во имя дружбы, которой барон удостоил вас, умоляйте его, чтобы он через всех своих шпионов разузнал, была ли у Фабрицио перед его отъездом в Швейцарию хотя бы одна-единственная встреча с кем-нибудь из либералов, находящихся под надзором. Если у барона расторопные помощники, он увидит, что тут можно говорить только о чисто юношеской опрометчивости. Вы помните, конечно, что у меня в прежних моих пышных апартаментах, во дворце Дуньяни, висели на стенах гравюры, изображавшие сражения, выигранные Наполеоном, – разбирая по складам пояснения под этими гравюрами, племянник выучился читать. Когда ему было пять лет, мой покойный муж рассказывал ему об этих битвах; мы надевали ему на голову каску моего мужа; малыш волочил по полу его большую саблю. И вот в один прекрасный день он узнает, что император Наполеон, кумир моего мужа, вернулся во Францию; юный сумасброд помчался туда, чтобы присоединиться к своему герою, но это ему не удалось. Спросите барона, какую кару он придумал для Фабрицио за это минутное безумие.

– Я забыл показать вам кое-что! – воскликнул каноник. – Вы сейчас увидите, что я хоть немного достоин прощения, которое вы даровали мне. Вот, – сказал он, перебирая бумаги, лежавшие на столе, – вот донос этого подлого col-torto (лицемера); взгляните на подпись: *Асканьо Вальсерра дель Донго*, – он-то и затеял все это дело. Вчера я взял его донос в канцелярии полиции и отправился в Ла Скала, надеясь встретить кого-нибудь из обычных посе-

тителей вашей ложи и через него передать вам содержание этой бумаги. Копия ее уже давно находится в Вене. Вот враг, с которым надо бороться.

Каноник прочел графине донос; было условлено, что днем он пришлет ей копию через надежного посредника. С радостью в сердце вернулась графиня во дворец дель Донго.

– Бывший *негодяй* стал совершенно порядочным человеком! – сказала она маркизе. – Сегодня вечером мы поедем в Ла Скала; когда часы в театре покажут без четверти одиннадцать, мы удалим всех из нашей ложи, погасим свечи, запрем дверь, а в одиннадцать часов придет сам каноник и расскажет, что ему удалось сделать. Мы с ним решили, что это будет наименее опасно для него.

Каноник был очень умен: он не преминул прийти на условленное свидание, проявил большую доброту и полнейшее чистосердечие, что встречается лишь в тех странах, где тщеславие не властвует над всеми другими чувствами. Воспоминание о доносе на графиню, который он сделал когда-то генералу Пьетранере, жестоко мучило его; теперь он нашел средство избавиться от укуров совести.

Утром, когда графиня ушла от него, он подумал: «Ну вот... Конечно, у нее роман с племянником!» Он подумал это с горечью, так как еще не исцелился от былой страсти. «Такая гордая женщина – и вдруг пришла ко мне!.. После смерти бедняги Пьетранеры она с негодованием отвергла предложения услуг, весьма учтивые и весьма деликатно переданные ей от меня полковником Скотти, ее бывшим любовником. Прекрасная графиня Пьетранера предпочла жить на пенсию в полторы тысячи франков! – вспоминал каноник, взволнованно шагая по комнате. – А затем она уехала в Грианту. Как она могла выносить общество этого гнусного *seccatore*¹³, маркиза дель Донго? Теперь все понятно. В самом деле, у этого юного Фабрицио столько достоинств: высокий рост, стройный стан, веселая улыбка, а лучше всего у него взгляд, полный томной неги, и выражение лица как на полотнах Корреджо», – с горечью думал каноник.

«Разница в летах?.. Но она не так уж велика. Фабрицио родился вскоре после вступления французов, – помнится, в девяносто восьмом году, а графине сейчас двадцать семь – двадцать восемь лет, и невозможно быть милее и краше ее. В нашей стране столько красавиц, но она всех затмевает. Марини, Герарди, Руга, Арези, Пьетрагруа не могут с ней сравниться... Влюбленные жили счастливо, вдали от света, на берегу чудесного озера Комо, и вдруг этот юноша все бросает и бежит к Наполеону... Право, есть еще отважные души в Италии, что бы с ней ни делали!.. Дорогая отчизна!.. Да, да, – подсказывало ему сердце, пылающее ревностью, – нельзя объяснить иначе эту смиренную готовность прозябать в деревне и ежедневно с отвращением видеть за каждой трапезой ужасную физиономию маркиза дель Донго и вдобавок гнусную бледную образину Асканьо, который окажется еще подлее своего папаша... ну что ж, я честно послужу ей. По крайней мере буду теперь иметь удовольствие видеть ее в театре не только в зрительную трубку».

Каноник Борда обстоятельно объяснил дамам положение дела. В глубине души Биндер весьма к ним расположен; он очень рад, что Фабрицио успел бежать, пока еще не пришло распоряжение из Вены, – Биндер не имеет полномочий решать что-либо своей властью; в этом деле, как и во всяком другом, он ждет приказа; каждый день он посылает в Вену точные копии всех поступающих донесений и затем ждет.

Фабрицио во время его добровольного изгнания в Романьяно необходимо:

1. Неуклонно ходить каждый день к обедне; взять себе в духовники человека умного и преданного монархии и на исповеди высказывать только вполне благонадежные чувства.

2. Не знаться ни с одним человеком, который слывет умником, и при случае говорить о восстаниях с ужасом, как о совершенно недопустимых действиях.

¹³ Скучный, несносный человек (*um.*).

3. Никогда не бывать в кофейнях, никогда не читать газет, кроме двух правительственных листков – туринского и миланского, и вообще выказывать большую неохоту к чтению, а главное, не читать никаких книг, написанных после 1720 года, за исключением, самое большее, романов Вальтера Скотта.

– И, наконец, – добавил каноник с некоторым лукавством, – ему следует открыто ухаживать за какой-нибудь местной красавицей, разумеется, благородного происхождения; это покажет, что он не отличается мрачным и беспокойным складом ума, свойственным будущим заговорщикам.

Перед сном графиня и маркиза написали Фабрицио письма: обе с трогательным усердием передали ему все советы каноника Борды.

У Фабрицио не было никакого желания стать заговорщиком: он любил Наполеона и, по праву дворянина, считал себя созданным для того, чтобы жить счастливее других, а буржуа казались ему смешными. Он не раскрывал ни одной книги с тех пор, как его взяли из коллегии, да и там читал только книги, изданные в переложении иезуитов. Он поселился неподалеку от Романьяно в великолепном дворце, одном из лучших творений знаменитого зодчего Сан-Микели, но этот пышный замок пустовал уже тридцать лет, поэтому все потолки там протекали и ни одно окно не затворялось. Фабрицио бесцеремонно завладел лошадьми управителя и по целым дням ездил верхом; он ни с кем не разговаривал и много размышлял. Совет найти себе любовницу в семействе какого-нибудь яркого монархиста показался ему забавным, и он в точности последовал ему. В духовники он взял молодого священника, интригана, желавшего стать епископом (как капеллан Шпильберга¹⁴); но вместе с тем он ходил пешком за три лье ради того, чтобы в непроницаемой, как ему казалось, тайне читать «Constitutionnel», – он считал эту газету откровением. «Это так же прекрасно, как Альфьери и Данте!» – часто восклицал он. У Фабрицио была одна черта, роднившая его с французской молодежью: он серьезнее относился к своей лошади и газете, чем к своей благомыслящей любовнице. Но в его наивной и твердой душе еще не было стремления *подражать другим*, и в обществе маленького городка Романьяно он не приобрел друзей; его простоту называли высокомерием и не знали, что сказать о его характере.

«*Это младший сын, обиженный тем, что он не старший*», – решил священник.

¹⁴ См. любопытные мемуары г-на Андриана, которые занимательны, как сказка, и останутся в истории, как Тацит. – Примеч. автора.

VI

Признаемся откровенно, что ревность каноника Борды не совсем была лишена оснований. По возвращении из Франции Фабрицио показался графине Пьетранера прекрасным незнакомцем, которого она когда-то хорошо знала. Заговори он о любви, она полюбила бы его: ведь его поступок да и сам он вызывали в ней страстный и, можно сказать, беспредельный восторг. Но поцелуи и речи Фабрицио были так невинны, исполнены такой горячей благодарности, искренней дружбы к ней, что она ужаснулась бы самой себе, если бы стала искать в этой почти сыновней признательности какое-то иное чувство. «Право же, – говорила себе графиня, – только немногие друзья, знавшие меня шесть лет назад, при дворе принца Евгения, еще могут считать меня красивой и даже молодой. Но для него я – почтенная женщина и, если уж говорить начистоту, не щадя своего самолюбия, – просто пожилая женщина». Графиня обманывалась, рассуждая так о той поре жизни, в которую вступила, но обманывалась совсем иначе, чем заурядная кокетка. «К тому же в его возрасте, – добавляла она, – немного преувеличивают те разрушения, какие вызывает в женщине время. Пожалуй, человек более зрелых лет...»

Тут графиня, перестав расхаживать по своей гостиной, посмотрелась в зеркало и улыбнулась. Надо сказать, что уже несколько месяцев сердце г-жи Пьетранера подвергалось весьма упорным атакам со стороны человека недюжинного. Вскоре после отъезда Фабрицио во Францию графиня, которая почти бессознательно всеми помыслами была с ним, впала в глубокую меланхолию. Обычные ее занятия теперь не доставляли ей никакого удовольствия и, если можно так выразиться, стали пресными; она воображала, что Наполеон, желая привлечь к себе народы Италии, сделает Фабрицио своим адъютантом. «Он потерян для меня! – восклицала она, проливая слезы. – Я больше никогда его не увижу! Он будет мне писать, но кем я стану для него через десять лет?..»

В таком душевном состоянии она совершила поездку в Милан, надеясь услышать там новости о Наполеоне, а из них косвенным путем, может быть, узнать что-нибудь о Фабрицио. Эта деятельная натура безотчетно начинала уже тяготиться однообразной жизнью в деревне. «Тут только что не умирают, а жизнью это назвать нельзя, – думала она. – Каждый день видеть физиономии этих *пудренных* – брата, племянника Асканьо, их лакеев! Без Фабрицио что мне прогулки по озеру?» Единственным утешением осталась для нее дружба с маркизой. Но с некоторого времени задушевная близость с матерью Фабрицио, женщиной, значительно старше ее годами и разочарованной в жизни, стала для нее менее приятной.

Госпожа Пьетранера очутилась в странном положении: Фабрицио уехал, надежд на будущее у нее почти не было, сердце ее жаждало утешения и новизны. В Милане она пристрастилась к опере, модной в те годы; долгие часы проводила она в театре Ла Скала, одна, запершись в ложе генерала Скотти, своего старого друга. Мужчины, с которыми она искала встреч для того, чтобы услышать новости о Наполеоне и его армии, казались ей грубыми и пошлыми. Вернувшись домой, она импровизировала на фортепьяно до трех часов утра. Однажды вечером в театре Ла Скала, когда она зашла в ложу своей приятельницы, чтобы узнать новости из Франции, ей представили графа Моску, пармского министра; он оказался человеком весьма любезным, а то, что он рассказал о Франции и Наполеоне, дало ее сердцу новые основания для надежд и опасений. На следующий день она опять зашла в ложу, вновь увидела там этого умного человека и с удовольствием разговаривала с ним до конца спектакля. С тех пор как уехал Фабрицио, она ни одного вечера не провела так приятно. Человек, который сумел ее развлечь, граф Моска делла Ровере Соредзана, был в ту пору военным министром, министром полиции и финансов знаменитого принца Пармского, Эрнеста IV, прославившегося своей суровостью, которую миланские либералы называли жестокостью.

Графу Моске было тогда лет сорок – сорок пять; у него были крупные черты лица, ни малейшего чванства, напротив, вид простой и веселый, говоривший в его пользу. Он был бы еще хорош собой, если б, в угоду принцу, ему не приходилось пудрить волосы для доказательства своей благонадежности. В Италии не очень боятся задеть чужое тщеславие, разговор там быстро принимает непринужденный характер и переходит на личные темы. Почувствовав обиду, люди могут больше не встречаться, – это служит поправкой к такому обычаю.

– Скажите, граф, почему вы пудрите волосы? – спросила г-жа Пьетранера уже на третий день своего знакомства с Москвой. – Пудренные волосы! У такого человека, как вы, любезного, еще молодого и вдобавок воевавшего вместе с нами в Испании!

– Видите ли, я ничего не украл в этой самой Испании, а жить на что-нибудь надо! Я страстно мечтал о славе, лестное слово нашего командира, французского генерала Гувьон Сен-Сира, было для меня все. Но, как оказалось после падения Наполеона, пока я проживал свое состояние на его службе, мой отец, человек с воображением, в мечтах уже видевший меня генералом, принялся строить для меня дворец в Парме. В 1813 году все мое богатство состояло из недостроенного дворца и пенсии.

– Пенсии? Три с половиной тысячи, как у моего мужа?

– Граф Пьетранера был дивизионным генералом, а я – скромным командиром эскадрона. Мне назначили только восемьсот франков, да и те стали выплачивать, лишь когда я сделался министром финансов.

Так как при этом разговоре присутствовала только хозяйка ложи, дама весьма либеральных взглядов, он продолжался с такою же откровенностью. Отвечая на расспросы г-жи Пьетранера, граф рассказал ей о своей жизни в Парме.

– В Испании, в войсках генерала Сен-Сира, я лез под пули ради ордена и крупницы славы, а теперь я одеваюсь, как комедийный персонаж, ради того, чтобы иметь жалованье в несколько тысяч франков и дом на широкую ногу. Став участником своего рода шахматной игры, я был возмущен надменностью тех, кто стоял выше меня, решил занять одно из первых мест и достиг этого. Но по-прежнему самые счастливые дни для меня те, которые время от времени мне удастся провести в Милане: в этом городе, как мне кажется, еще живет душа вашей Итальянской армии.

Откровенность, *disinvoltura*¹⁵, с которой говорил этот министр столь грозного монарха, затронула любопытство графини: она ожидала встретить в этом сановнике чванного педанта, а увидела, что он стыдится своего высокого положения. Моска пообещал доставлять ей все новости из Франции, какие ему удастся получить; в Милане, за месяц до Ватерлоо, это было большой смелостью: в те дни, казалось, решалась судьба Италии – быть ей или не быть, и в Милане все горели лихорадкой надежды или страха. В такой атмосфере всеобщего волнения графиня старалась побольше разузнать о человеке, который столь беспечно высмеивал свой завидный пост, являвшийся для него единственным источником существования.

Г-жа Пьетранера услышала о нем много любопытного, интригующего, необычайного. Граф Моска делла Ровере Соредзана, говорили ей, скоро будет премьер-министром и признанным фаворитом Рануция Эрнеста IV, пармского самодержца, одного из богатейших монархов в Европе. Граф уже занял бы этот высокий пост, если бы пожелал держать себя более солидно, – говорят, принц часто читает ему наставления по этому поводу.

– Ваше высочество, не все ли равно, какие у меня манеры, раз я хорошо служу вам, – смело отвечал граф.

– Счастье этого фаворита, – добавляли осведомленные люди, – не лишено терний. Ему приходится угождать монарху, человеку неглупому и здравомыслящему, но, очевидно, поте-

¹⁵ Непринужденность (*um.*).

рявшему голову с тех пор, как он сел на престол самодержца, – например, его одолевают такие страхи, которые под стать трусливой женщине.

Эрнест IV проявляет храбрость только на войне. В сражениях он раз двадцать вел колонну в атаку, как храбрый генерал. Но когда после смерти своего отца, Эрнеста III, он возвратился в Парму и, на свое несчастье, стал неограниченным монархом, он обезумел, стал произносить громовые речи против либералов и свободы. Вскоре он вообразил, что его ненавидят, а затем, в минуту дурного расположения духа, приказал повесить двух либералов, виновных в каких-то ничтожных проступках, – сделал он это, послушавшись одного негодяя, некоего Расси, который является чем-то вроде министра юстиции.

С этой роковой минуты жизнь принца круто изменилась, его терзают самые нелепые подозрения. Ему еще нет пятидесяти лет, но от постоянного страха он до того сдал, если можно так выразиться, что иной раз ему по виду легко дать все восемьдесят, особенно когда он говорит о якобинцах и замыслах их главного комитета в Париже; к нему вернулись бессмысленные страхи малого ребенка. Фаворит Расси, главный фискал (то есть верховный судья), пользуется влиянием только благодаря этим страхам своего повелителя и лишь только увидит, что оно начинает ослабевать, спешно раскрывает какой-нибудь химерический злодейский заговор. Стоит тридцати неосторожным людям собраться, чтобы прочесть свежий номер «*Constitutionnel*», Расси объявляет их заговорщиками и отправляет в знаменитую Пармскую крепость – грозу всей Ломбардии. На огромной ломбардской равнине она видна издалека, так как высота ее, по слухам, сто восемьдесят футов, а весь облик этой башни, о которой рассказывают ужасы, внушает такой страх, что она властвует над всей равниной, от Милана до Болоньи.

– Поверите ли, – говорил графине другой заезжий путешественник, – по ночам принц дрожит от страха в своей опочивальне, хотя она находится на четвертом этаже, а входы во дворец охраняют восемьдесят часовых, которые каждые четверть часа перекликаются, протяжно выкрикивая целую фразу. Все двери заперты на десять замков, комнаты, расположенные над спальней и под нею, полны солдат, – так принц боится якобинцев. Едва скрипнет паркет, он хватается за пистолеты, воображая, что под его кроватью спрятался либерал. Тотчас же по всему дворцу звенят звонки, и дежурный адъютант отправляется будить графа Моску. Явившись во дворец, министр полиции отнюдь не отрицает наличия заговора, – напротив, один на один с принцем, вооружившись до зубов, он осматривает все уголки его покоев, заглядывает под кровати, – словом, вытворяет всевозможные глупости, простительные лишь какой-нибудь боязливой старухе. Все эти предосторожности и самому принцу показались бы до крайности унижительными в те счастливые времена, когда он сражался на войне и убивал людей только в бою. Он человек неглупый и, принимая такие предосторожности, сам видит, как они смехотворны; огромное влияние графа Моски зиждется на том, что благодаря его дипломатической ловкости принцу не приходится при нем краснеть за свою трусость. Это сам Моска в качестве главы полиции настаивает на необходимости заглянуть под кровати, диваны, столы, кресла и, как говорят в Парме, даже в футляры контрабасов. А принц противится этому и высмеивает своего министра за такое чрезмерное усердие. «Это вопрос нашего престижа, – отвечает ему граф Моска. – Подумайте, какими язвительными сатирическими сонетами разразятся якобинцы, если мы допустим, чтобы вас убили. Мы защищаем не только вашу жизнь, но и свою честь». Правда, принц, видимо, лишь наполовину верит этому; если на другой день в городе кто-нибудь осмелится сказать, что во дворце опять провели бессонную ночь, главный фискал Расси отправляет дерзкого шутника в крепость, а уж если человек попадает в эту высокую обитель, *на сквознячок*, как говорят в Парме, – поминай как звали: он выйдет оттуда только чудом. Граф Моска был военным; в Испании он раз двадцать с пистолетом в руке защищался от внезапных нападений; поэтому принц и предпочитает его Расси, существу гораздо более угодливому и низкому.

Несчастливых узников крепости держат в одиночках, в строжайшем заточении, и о них рассказывают страшные истории. Либералы утверждают, например, что, по приказанию Расси, тюремщики и духовники приблизительно раз в месяц говорят заключенным, что одного из них в такой-то день поведут на казнь. В этот день им разрешают подняться на верхнюю площадку башни, устроенную на высоте ста восьмидесяти футов, и оттуда они видят процессию, в которой какой-нибудь шпион играет роль смертника.

Эти рассказы и множество других в том же духе и не менее достоверных возбудили в г-же Пьетранера живейший интерес; на следующий день она приступила с расспросами к графу Моске и, подшучивая над ним, весело доказывала, что он настоящий изверг, хотя и не дает себе в этом отчета. Однажды, возвратившись к себе в гостиницу, граф подумал: «Графиня – очаровательная женщина, и, когда я провожу вечер в ее ложе, мне удается забыть кое-какие пармские дела, о которых мне больно вспоминать». «Этот министр, вопреки его легкомысленному виду и галантному обхождению, не был наделен душой *французского склада*; он не умел *забывать* горести. Если в изголовье его ложа оказывались колючие шипы, ему необходимо было сломать их или затупить острия, изранив о них свои трепещущие руки». Прошу извинить меня за эту тираду, переведенную с итальянского. На следующий день после своего открытия граф нашел, что, несмотря на важные дела, которые привели его в Милан, время тянется бесконечно; он не мог усидеть на месте и загонял лошадей, разъезжая по городу в карете. Около шести часов вечера он сел в седло и отправился на Корсо, питая некоторую надежду встретить графиню Пьетранера; не найдя ее там, он вспомнил, что театр Ла Скала открывается в восемь часов; войдя в огромную залу, он увидел в ней человек десять, не больше. Ему стало немного стыдно, что он явился так рано. «Возможно ли? – думал он. – Мне сорок пять лет, а я делаю такие глупости, что их устыдил бы даже молоденький суб-лейтенант. К счастью, никто о них не подозревает». Он ушел и, чтобы убить время, стал бродить по красивым улицам, примыкающим к театру. На каждом шагу там попадаются кофейни, где в этот час всегда полно народу; на тротуаре перед кофейнями сидят за столиками любопытные, едят мороженое и критикуют прохожих. Граф был прохожим весьма примечательным и поэтому имел удовольствие попасть в плен к знакомым. Трое-четверо докучливых особ из числа тех, кого неудобно прогнать, воспользовались случаем получить аудиенцию у всесильного министра. Двое из них вручили ему прошения, а третий ограничился весьма пространными советами относительно его политической деятельности.

«Ум не дает человеку спать, власть не позволяет прогуляться», – сказал себе граф и вернулся в театр. Ему пришла мысль взять ложу в третьем ярусе: никто его там не заметит и можно будет без помехи смотреть на ту ложу второго яруса, где он надеялся увидеть графиню Пьетранера. Ждать пришлось целых два часа, но они не показались влюбленному слишком долгими: уверенный, что никто его не видит, он с наслаждением отдавался своему безрассудству. «Старость, – говорил он себе мысленно, – прежде всего сказывается в том, что человек уже неспособен на такие восхитительные ребячества».

Наконец появилась графиня. Вооружившись зрительной трубкой, он с восторгом рассматривал ее. «Молода, блистательна, легка, как птица; ей не дашь больше двадцати пяти лет, – думал он. – И красота не главное ее очарование: у кого еще встретишь такую душу? Это сама искренность, никогда она не думает о *благоразумии*, вся отдается впечатлению минуты, всегда ее влечет новизна! Понимаю теперь все безумства графа Нани».

Граф находил прекрасные оправдания своему безрассудству, когда думал лишь о том, как завоевать счастье, образ которого был у него перед глазами. Но он гораздо менее был уверен в своей правоте, когда вспоминал о своем возрасте и заботах, порою весьма тягостных, наполнявших его жизнь. «Неглупый человек, от страха потерявший голову, дает мне много денег и возможность жить широко за то, что я состою при нем министром. Но если завтра он прогонит меня, я буду только нищим стариком, то есть самым жалким в мире суще-

ством. Нечего сказать, приятный спутник жизни для графини Пьетранера!» Такие мысли были слишком мучительны; он снова стал смотреть на графиню и, чтобы думать о ней без помехи, все не шел в ее ложу. «Как мне говорили, она взяла в любовники Нани лишь для того, чтобы отомстить дураку Лимеркати, не пожелавшему расправиться с убийцей ее мужа ударом шпаги или хотя бы с помощью наемного кинжала. А я ради нее двадцать раз дрался бы на дуэли!» – восторженно думал граф. То и дело он смотрел на театральные часы, где светящиеся цифры, сменявшиеся на черном фоне каждые пять минут, уже указывали зрителям то время, когда полагалось навестить в ложе друзей. Граф говорил себе: «Мне можно пробыть у нее в ложе полчаса, не больше, – я так еще мало знаком с нею. Если останусь дольше, я выдам себя; а при моем возрасте и этих проклятых пудренных волосах у меня будет вид не лучше, чем у Кассандра». Но вдруг одно соображение заставило его решиться: «А что, если она сейчас уйдет в другую ложу, чтобы нанести кому-нибудь визит! Хорошо же я буду вознагражден за то, что так скуп отмеряю себе величайшее удовольствие!» Он спустился во второй ярус, и вдруг у него почти пропало желание идти в ложу, где он видел графиню... «Вот чудеса! – подсмеиваясь над собою, думал он, остановившись на лестнице. – Я робею, право, робею! А уже лет двадцать пять со мною этого не случалось».

Сделав над собою усилие, он все-таки вошел в ложу и, как умный человек, сумел воспользоваться своим смущением: он вовсе не пытался держать себя непринужденно и блеснуть остроумием, рассказывая что-нибудь забавное, – напротив, он имел мужество быть робким и употребил свой тонкий ум на то, чтобы его волнение стало заметным, не будучи смешным. «Если ей это не понравится, – думал граф, – для меня все потеряно. Какая нелепость! Робкий вздыхатель с пудренными волосами, в которых без пудры видна была бы седина! Но ведь волнение мое искренне и, следовательно, может показаться смешным лишь в том случае, если я стану подчеркивать его или кичиться им».

Но графиня уже не обращала никакого внимания на прическу своего нового поклонника, хотя ей так надоело видеть в Грианте за столом против себя пудренные головы брата, племянника и каких-нибудь скучных благонамеренных соседей. У нее был щит, ограждавший ее от желания рассмеяться при появлении графа в ложе: она с нетерпением ждала новостей о Франции, которые Моска всегда сообщал ей наедине, – разумеется, он выдумывал их. Обсуждая с ним в тот вечер очередные новости, она заметила, что глаза у него красивые и добрые.

– Мне думается, – сказала она, – что в Парме, среди ваших рабов, у вас не бывает такого приятного взгляда, – ведь он все испортит: у этих несчастных появится надежда, что их не повесят.

Полное отсутствие чопорности в человеке, который слыл лучшим дипломатом Италии, приятно удивляло графиню, она даже нашла в нем какое-то обаяние. Наконец, говорил он хорошо и с жаром, поэтому ее совсем не оскорбило, что на один вечер он вздумал выступить в роли влюбленного, – она полагала, что это не будет иметь последствий.

Однако это был большой и очень опасный шаг; к счастью для министра, не встречавшего в Парме отпора у дам, графиня только что приехала из Грианты, где ум ее как будто застыл от скуки деревенской жизни. Она там позабыла, что такое шутка, и все атрибуты изысканной, легкой жизни приняли теперь в ее глазах оттенок священной новизны; она не склонна была смеяться над чем бы то ни было, даже над застенчивым влюбленным сорока пяти лет. Неделей позже дерзкие притязания графа могли бы встретить совсем иной прием.

В театре Ла Скала визиты, которые наносят знакомым в их ложах, принято не затягивать больше двадцати минут. Граф провел весь вечер в той ложе, где имел счастье встретить г-жу Пьетранера. «Эта женщина, – думал он, – вернула мне все безумства молодости!» Но он чувствовал, что это опасно. «Может быть, ради моего положения всесильного паши, власт-

вующего в сорока лье отсюда, мне простится эта глупость. Ведь я так скучаю в Парме!» Однако он каждые четверть часа давал себе слово немедленно уйти.

– Надо признаться, сударыня, – говорил он, смеясь, графине, – что в Парме я умираю от скуки, и, право, мне простительно упиваться радостью, когда она встретится на моем пути. Итак, разрешите мне на один лишь вечер, который не будет иметь никаких последствий, выступить перед вами в роли влюбленного. Увы! Через неделю я буду так далеко от этой ложи, где я забываю все горести и даже, как вы справедливо можете сказать, все приличия.

Через неделю после этого чудовищно долгого визита в ложу театра Ла Скала и после многих мелких событий, рассказ о которых показался бы, пожалуй, слишком пространным, граф Моска влюбился без памяти, а графиня Пьетранера уже думала, что возраст не может составить препятствие, если во всем другом человек тебе по душе. В таком расположении мыслей они и расстались, когда Моску вызвали в Парму через курьера. Без министра принца, видимо, одолевал страх. Графиня вернулась в Грианту; этот чудесный уголок показался ей теперь пустыней, ибо воображение уже не украшало его. «Неужели я привязалась к этому человеку?» – думала она.

Моска написал ей, совершенно непритворно уверяя, что разлука отняла у него предмет всех его помыслов; письма его приносили развлечение. Чтобы не прогневить маркиза дель Донго, не любившего платить за доставку в Грианту писем, граф применил маленькую хитрость, которая была хорошо принята: он отправлял письма с курьером, который сдавал их на почту в Комо, в Лекко, в Варезе или каком-нибудь другом красивом городке на берегах озера. Он надеялся получать ответы с тем же курьером и добился своего.

Вскоре дни приезда курьера стали событием для графини; курьер привозил цветы, фрукты, маленькие подарки, не имевшие большой ценности, но занимавшие и ее и невестку. К воспоминаниям о графе примешивалась мысль о большой его власти; графиня с любопытством прислушивалась ко всему, что говорили о нем; даже либералы воздавали должное его талантам.

Основной причиной дурной репутации графа было то, что его считали вожаком партии крайних роялистов при пармском дворе, тогда как партию либералов возглавляла маркиза Раверси, богачка и интриганка, способная на все, даже на успех. Принц всячески старался не лишать надежд партию, отстраненную от власти: он знал, что всегда останется повелителем, даже если составит министерство из завсегдатаев салона г-жи Раверси. В Грианте рассказывали множество подробностей об этих интригах; отсутствие графа Моски, которого все рисовали как человека даровитого и деятельного, позволяло забыть о его пудренных волосах – символе всего косного и унылого; это была мелочь, сущий пустяк, одна из придворных обязанностей, тогда как сам Моска играл при дворе такую важную роль.

– Двор – это нечто нелепое, но забавное, – говорила графиня своей невестке. – Это как увлекательная карточная игра, в которой надо, однако, подчиняться установленным правилам. Разве кто-нибудь вздумает возмущаться правилами игры в вист? А когда привыкнешь к ним, все-таки приятно объявить противнику большой шлем.

Графиня часто думала об авторе многочисленных любезных посланий, и тот день, когда приходило письмо, был для нее праздничным; она садилась в лодку и отправлялась читать письмо в каком-нибудь прелестном уголке на берегу озера: в Плиньяну, в Белано или в рошу Сфондрата. Эти письма как будто немного утешали ее в разлуке с Фабрицио. Не подлежало сомнению, что граф очень влюблен, и не прошло месяца, как она уже думала о нем с чувством нежной дружбы. Со своей стороны граф Моска почти искренне уверял в письмах, что готов подать в отставку, бросить министерский пост и провести вместе с нею жизнь до конца дней в Милане или где-нибудь в другом месте. «Состояние мое – четыреста тысяч франков, – добавлял он, – значит, у нас все же будет пятнадцать тысяч ливров ренты». «Опять ложа, собственный выезд и прочее!» – думала графиня. Это были приятные мечты.

Чудесные виды озера Комо вновь начали пленять ее своей красотой. На берегах его она мечтала теперь о возвращении к блестящей и незаурядной жизни, которая, вопреки всем вероятностям, вновь становилась возможной для нее. Она представляла себя на Корсо в Милане счастливой и веселой, как во времена вице-короля. «Вновь вернется ко мне молодость или хотя бы деятельная жизнь!»

Иной раз пылкое воображение скрывало от нее действительность, но никогда не бывало у нее добровольного самообольщения, свойственного трусливым душам. Она была женщиной прежде всего искренней перед собой. «В моем возрасте уже несколько поздно предаваться безумствам, а зависть, слепая во многом, как и любовь, может отравить мне жизнь в Милане. После смерти мужа моя благородная бедность и отказ от двух больших состояний внушили уважение ко мне. У моего милого графа Моски нет и двадцатой доли тех богатств, которые положили к моим ногам два дурака – Лимеркати и Нани. Маленькая вдовья пенсия, полученная с таким трудом, никаких слуг (сколько об этом говорили!), две комнатки в шестом этаже, а перед подъездом – двадцать карет, – все это когда-то представляло зрелище необычайное. Но если я вернусь в Милан, по-прежнему располагая всего лишь вдовой пенсией, а жить буду с мещанским достатком в пятнадцать тысяч дохода, который сохранится у графа Моски после отставки, то, как бы умело я ни вела себя, мне придется претерпеть много неприятных минут. У моих завистников будет в руках грозное оружие: граф женат, хотя давно уже разошелся с женой. В Парме об этом все знают, но в Милане этот разрыв окажется новостью, и его припишут мне. Итак, прощай прекрасный театр Ла Скала, прощай дивное озеро Комо!..»

Будь у графини хотя бы самое маленькое состояние, она, невзирая на все ожидавшие ее неприятности, приняла бы предложение Моски подать в отставку. Она считала себя пожилой женщиной, и двор внушал ей страх. Но вот что покажется невероятным по эту сторону Альп: граф действительно с радостью ушел бы ради нее в отставку, – по крайней мере ему удалось убедить в этом любимую женщину. Во всех своих письмах он с безумным, все возрастающим жаром умолял ее о вторичной встрече в Милане и получил согласие. «Я не хочу лгать и не буду клясться, что питаю к вам безумную страсть, – сказала ему графиня, приехав в Милан. – Я была бы счастлива полюбить так, как любила в двадцать два года, но мне уже за тридцать. Я видела, как рушилось многое, что я считала вечным! Но я чувствую к вам нежную дружбу, беспредельное доверие и предпочитаю вас всем мужчинам». Графиня полагала, что говорит совершенно искренне, и все же в конце своих заверений она немного покривила душой. Фабрицио, если б он того пожелал, может быть, взял бы верх надо всеми в ее сердце. Но в глазах Моски Фабрицио был всего лишь ребенок, и, прибыв в Милан через три дня после отъезда юного сумасброда в Новару, он поспешил нанести визит барону Биндеру, чтобы похлопотать за него. Однако в душе граф считал изгнание неизбежным.

В Милан Моска приехал не один, он привез в своей карете герцога Сансеверина-Таксис, благообразного старичка шестидесяти восьми лет, седенького, весьма учтивого, весьма опрятного, очень богатого, но не очень родовитого. Его дед был главным откупщиком налогов Пармского государства и нажил миллионы. Отец добился назначения послом принца Пармского при *** дворе, приведя для этого следующие доводы: «Ваше высочество, вы отпускаете своему послу при *** дворе тридцать тысяч франков в год, и он там кажется довольно жалкой фигурой. Если бы вы удостоили назначить меня на этот пост, я удовольствовался бы всего шестью тысячами франков жалованья, расходы же мои при *** дворе никогда не будут ниже ста тысяч франков в год; а, кроме того, мой управитель ежегодно будет вносить в кассу министерства иностранных дел в Парме двадцать тысяч франков. На такие деньги можно содержать при мне любого секретаря посольства, и я несколько не стану интересоваться дипломатическими тайнами, если таковые у него окажутся. Я желаю только

придать блеск своему дворянству, еще недавнему, и возвысить его, получив один из важнейших постов в нашей стране».

Нынешний герцог Сансеверина, сын этого посла, имел неосторожность показать себя полулибералом и вот уже два года пребывал в отчаянии. При Наполеоне он потерял два-три миллиона, упорно не желая возвращаться из-за границы, и все же после восстановления порядка в Европе никак не мог добиться орденской ленты, украшавшей на портрете грудь его отца. Он исках от тоски по этому отличию.

В Италии вслед за любовью приходит душевная близость, и между двумя нашими любовниками уже не было преград тщеславия. Поэтому граф Моска с полнейшей простотой сказал обожаемой женщине:

– Я хочу предложить вам два-три плана устройства нашей с вами жизни; все они прекрасно разработаны: три месяца я только и думаю об этом.

Первый план: я подам в отставку, и мы с вами станем жить, как почтенные буржуа, в Милане, во Флоренции, в Неаполе – словом, где вы пожелаете. У нас будет пятнадцать тысяч ливров дохода, не считая благодеяний принца, которые прекратятся не сразу.

Второй план: вы соблаговолите приехать в ту страну, где я пользуюсь некоторой властью, вы приобретете какое-нибудь поместье, например, Сакка: там очаровательный дом на лесистой возвышенности у берега По; купчую на это поместье вы можете получить через неделю. Принц приблизит вас ко двору. Но тут возникает серьезное препятствие. При дворе вас примут прекрасно, никто и бровью не поведет, опасаясь меня; к тому же принцесса почитает себя несчастной, а я, имея в виду вас, оказал ей недавно кое-какие услуги. Но я должен сообщить вам об одном очень важном затруднении: принц в высшей степени религиозный человек, а я, как вам известно, по воле судьбы все еще состою в законном браке. Отсюда миллион мелких неприятностей для вас. Однако вы вдова, и это достойное звание следует заменить другим, что и будет предметом моего третьего предложения. Можно подыскать для вас нового мужа, – конечно, такого, который совершенно не будет вас стеснять. Но, во-первых, надо, чтобы он был человеком весьма преклонных лет, – ведь вы не пожелаете лишиться меня надежды когда-нибудь занять его место. Так вот, я заключил эту своеобразную сделку с герцогом Сансеверина-Таксис, хотя он, разумеется, не знает имени будущей герцогини. Он знает только, что его назначат послом и дадут ему ленту через плечо, как его отцу, и он уже не будет тогда несчастнейшим из смертных. Если не считать этой мании, герцог не так уж глуп, – костюмы и парики он выписывает себе из Парижа. От него ни в коем случае нельзя ожидать зловредных замыслов; он искренне считает, что получить ленту – величайшая честь, и стыдится своего богатства. В прошлом году он предложил мне основать на его средства больницу, чтобы удостоиться ленты; я посмеялся над ним. Но он не стал смеяться надо мною, когда я предложил ему этот брак; конечно, первым условием я поставил, чтобы никогда ноги его не было в Парме.

– А вы понимаете, что предложили мне совершить безнравственный поступок? – сказала графиня.

– Не более безнравственный, чем все то, что творится при нашем дворе и при двадцати других дворах. Самодержавная власть удобна тем, что она все освящает в глазах народов, а раз смешного не замечают, значит, его и нет. Так же, как теперь, нашей политикой на целых двадцать лет вперед будет страх перед якобинцами. Да еще какой страх! Каждый год мы будем считать себя накануне девяносто третьего года. Надеюсь, вы услышите, какие речи я произношу по этому поводу на приемах. Великолепные речи! Все, что хоть сколько-нибудь может уменьшить этот страх, будет *высокоморальным* в глазах аристократов и ханжей. А в Парме всякий, кто не является аристократом и ханжой, сидит в тюрьме или готовит себе узелок с пожитками, ожидая, что скоро отправится туда. Будьте уверены, что ваш брак покажется странным только в тот день, когда я попаду в опалу. В этой сделке никто

никого не надувает, а это, думается мне, самое важное. Принц, милостями которого мы торгуем и живем, дает свое согласие лишь при одном условии: будущая герцогиня Сансеверина должна быть благородного происхождения. В прошлом году я, по моим подсчетам, израсходовал на министерском посту сто семь тысяч франков, общий же доход мой – сто двадцать две тысячи; двадцать тысяч я поместил в Лионский банк. Так вот, выбирайте: широкий образ жизни, возможность расходовать ежегодно сто двадцать две тысячи – а в Парме на такие средства можно жить не хуже, чем в Милане на четыреста тысяч, – но при этом брак с довольно приличным человеком, которого вы увидите только один раз – перед алтарем, или скромная, мещанская жизнь на пятнадцать тысяч ренты во Флоренции или в Неаполе. Я согласен с вами: в Милане слишком вами восхищались, здесь будут нас преследовать завистники, и, может быть, им удастся испортить нам расположение духа. Пышная жизнь в Парме, надеюсь, будет иметь некоторый оттенок новизны даже в ваших глазах, хотя вы видели двор принца Евгения; было бы разумно познакомиться с этой жизнью, прежде чем закрыть себе доступ к ней. Не думайте, что я хочу повлиять на ваше решение. Мой выбор уже сделан. Во сто раз лучше жить с вами на пятом этаже, чем по-прежнему томиться одиночеством в роскоши.

Каждый день любовники обсуждали возможность этого странного брака. Графиня увидела на балу в Ла Скала герцога Сансеверина, и он показался ей довольно представительным. В одной из последних бесед с нею граф подвел итог своим предложениям:

– Надо наконец принять определенное решение, если мы хотим радостно прожить остаток дней и не состариться безвременно. Принц дал свое согласие. Сансеверина скорее хорошая, чем плохая партия; у него прекрасный дворец в Парме и огромное состояние; ему шестьдесят восемь лет, и его мучит безумная жажда получить ленту через плечо. Но важный проступок мешает этому и отравляет его жизнь: когда-то он купил за десять тысяч бюст Наполеона, изваянный Кановой. Есть еще второй грех, который сведет его в могилу, если вы не придете ему на помощь: однажды он дал займы двадцать пять наполеондоров Ферранте Палле – поэту нашей страны, безумцу, в котором есть, однако, искра гениальности; а вскоре после этой ссуды мы приговорили Ферранте к смертной казни, к счастью, заочно. Ферранте за свою жизнь написал двести неподобных стихов. Я когда-нибудь прочту их вам, – это так же прекрасно, как Данте. Итак, принц назначит Сансеверина послом при *** дворе; в день своего отъезда герцог обвенчается с вами; на второй год его изгнания, именуемого посольством, ему дадут орденскую ленту, без которой он не может жить. Для вас он будет братом и не доставит вам никаких неприятностей; он готов заранее подписать какие угодно бумаги; к тому же вы будете видеть его очень редко, а если пожелаете, не увидите никогда. Ему и самому не хочется показываться в Парме, где все помнят о его деде-откупщике и его собственном мнимом либерализме. Расси, наш палач, уверяет, что герцог втайне, через поэта Ферранте Паллу, состоял подписчиком «Constitutionnel», и такая клевета довольно долго служила серьезной помехой к согласию принца на этот брак.

Можно ли считать преступлением, если историк нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он, к несчастью своему, совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные? Правда, подобных поступков больше не увидишь в тех странах, где единственной страстью, пережившей все другие, является жажда денег, – этого средства удовлетворять тщеславие.

Через три месяца после событий, о которых мы рассказали, герцогиня Сансеверина-Таксис изумляла пармский двор приветливостью нрава и благородной ясностью ума; дом ее, бесспорно, был самым приятным в городе. Граф Моска как раз это и обещал своему повелителю. Царствующий принц, Рануций Эрнест IV, и принцесса, его супруга, которым герцогиню представили две самые знатные в стране дамы, оказали ей благосклонный

прием. Герцогине любопытно было посмотреть на принца, являвшегося хозяином судьбы любимого ею человека; она решила понравиться ему и преуспела в этом даже больше, чем хотела. Она увидела человека высокого роста, но несколько тучного; белокурые его волосы, усы и огромные бакенбарды, по заверениям придворных, отличались удивительно красивым оттенком, – во всяком ином кругу эту растительность блеклого цвета окрестили бы низким словом «пакля». На середине его широкого толстого лица робко возвышался маленький, почти женский носик. Но герцогиня сделала наблюдение, что уродливые черты во внешности принца заметны лишь, если к ним присматриваться. В общем, он имел вид человека умного и с твердым характером. Осанка его и манеры не лишены были величественности, но зачастую, когда ему хотелось произвести особо внушительное впечатление на собеседника, он вдруг приходил в замешательство и от смущения беспрестанно переминался с ноги на ногу. Впрочем, у Эрнеста IV был пронизывающий, властный взгляд, благородные жесты, а речь его отличалась сдержанностью и сжатостью.

Моска предупредил герцогиню, что принц всегда дает аудиенции в большом кабинете, где висел портрет Людовика XIV во весь рост и стоял очень красивый мозаичный столик работы флорентийских мастеров. Она нашла, что подражание слишком резко бросается в глаза: величавой речью и взглядом принц явно пытался походить на Людовика XIV, а на столик он опирался совершенно так же, как Иосиф II на портретах. После первых же слов, обращенных к герцогине, принц тотчас сел, чтобы дать ей возможность воспользоваться правом табурета – привилегией высокопоставленных дам. При пармском дворе на приемах имели право сидеть только герцогини, княгини и супруги испанских грандов; прочие дамы могли сесть только по особому приглашению принца или принцессы, и, чтобы подчеркнуть различие в рангах, августейшие особы заставляли дам, не имевших герцогского титула, немного подождать этого приглашения. Герцогиня нашла, что в иные минуты принц чересчур старательно подражал Людовику XIV, – например, когда он благосклонно улыбался, гордо откидывая голову.

Эрнест IV обычно носил фрак самого модного парижского покроя, – каждый месяц из Парижа, который он так ненавидел, ему присылали фрак, редингот и шляпу. Но в день аудиенции герцогини в его костюме весьма причудливо сочетались моды различных эпох: парижский фрак, короткие красные панталоны, шелковые чулки и закрытые туфли с пряжками, образец которых можно видеть на портретах Иосифа II.

Он принял г-жу Сансеверина милостиво, беседовал с ней любезно и остроумно, но она прекрасно почувствовала, что особого благоволения в этом приеме не было.

– А знаете почему? – спросил ее граф Моска, когда они вернулись с аудиенции. – Милан гораздо больше и красивее Пармы, и принц боялся, что, оказав вам иной прием, какого я ожидал и на какой он сам подал мне надежду, он будет похож на провинциала, очарованного изяществом столичной дамы. И, несомненно, его раздражает еще одно обстоятельство, о нем я едва решаюсь сказать вам: принц видит, что ни одна из дам при его дворе не может соперничать с вами красотой. По крайней мере вчера вечером, перед сном, он только об этом говорил в интимной беседе со своим старшим камердинером Перниче, который благоволил ко мне. Я предвижу маленькую революцию в придворном этикете... Должен вам сказать, что злейшим моим врагом при дворе является некий глупец, именуемый генералом Фабио Конти. Вообразите себе чудака, который за всю свою жизнь был на войне, может быть, один день и на этом основании подражает манерам Фридриха Великого. Мало того, он пытается также подражать благородной простоте генерала Лафайета, потому что считается у нас главой либеральной партии (бог весть, что это за либералы!).

– Я знаю этого Фабио Конти, – сказала герцогиня. – Мы недавно встретились с ним недалеко от Комо, – он пререкался с жандармами.

И она рассказала графу маленькое приключение, о котором читатель, вероятно, помнит.

– Когда-нибудь, сударыня, вы узнаете, если только ваш ум постигнет глубокую премудрость нашего этикета, что у нас девицы представляются ко двору только после своей свадьбы. Но принц исполнен такого патриотического пыла, так стремится доказать превосходство города Пармы над всеми прочими городами, что он – держу пари! – найдет предлог допустить ко двору юную Клелию Конти, дочь нашего Лафайета. Она в самом деле очаровательна и неделю тому назад еще могла считаться первой красавицей во владениях принца. Не знаю, – продолжал граф, – доходили ли до Грианты страшные истории, которые рассказывают о нашем государе его враги: Эрнеста IV изображают чудовищем, людоедом. А на самом деле у него было когда-то множество мелких добродетелей, и могу добавить, что, будь он неуязвим, как Ахилл, он и теперь оставался бы образцовым монархом. Но однажды, в минуту скуки и гнева, а также из подражания Людовику XIV, который повелел отрубить голову какому-то герою Фронды, имевшему дерзость спустя пятьдесят лет после Фронды спокойно доживать свой век в родовом поместье около Версаля, Эрнест IV приказал повесить двух либералов. Кажется, эти неосторожные люди в определенные дни приходили друг к другу в гости для того, чтобы ругать принца и воссылать к небу пламенные мольбы об избавлении их от тирана путем ниспослания на Парму чумы. Было установлено, что слово *тиран* произносилось. Расси назвал это заговором, вынес обоим смертный приговор, а казнь одного из них, графа Л., была ужасна. Все это произошло до меня. С того рокового дня, – добавил граф, понизив голос, – принц подвержен припадкам страха, совершенно *недостойным мужчины*, но они являются единственной причиной его благоволения ко мне. Не будь этого августейшего страха, меня считали бы слишком резким, слишком дерзким при этом дворе, где кишат глупцы. Подумайте только! Принц, прежде чем лечь спать, заглядывает под кровати в своих покоях и тратит миллион – а в Парме это равносильно четырем миллионам в Милане – на содержание грозной полиции. Вы видите перед собою, герцогиня, главу этой полиции. Благодаря ей, то есть благодаря страху его высочества, я стал министром военных дел и финансов; а так как полиция подчинена министру внутренних дел и он является моим номинальным начальником, я добился, чтобы этот портфель отдали графу Дзурла-Контарини, трудолюбивому болвану, которому доставляет удовольствие самолично писать по восьмидесяти отношений в день. Нынче утром я получил бумагу, на которой граф Дзурла-Контарини с удовлетворением собственноручно поставил исходящий номер – 20715.

Герцогиня была представлена унылой принцессе Пармской, Кларе-Паолине, которая считала себя очень несчастной из-за того, что у ее мужа была любовница (довольно хорошенькая дама, маркиза Бальби), а потому стала очень скучной особой. Она оказалась высокой, сухопарой женщиной, на вид лет пятидесяти, хотя ей было только тридцать шесть. Ее можно было бы назвать красивой, если б гармонию благородных и правильных черт не нарушал растерянный взгляд крайне близоруких круглых глаз и если бы она не перестала следить за своей внешностью. Она держала себя с герцогиней так робко, что кое-кто из придворных – враги графа Моски – осмелились говорить, что принцесса походила на даму, которую представляют ко двору, а герцогиня – на владетельную особу. Герцогиня удивилась, даже смутилась, не находя нужных слов, чтобы как-нибудь исправить это странное положение и занять подобающее ей место. Желая немного ободрить бедняжку принцессу, в сущности, неглупую женщину, герцогиня не придумала ничего лучшего, как завести длинный разговор о ботанике. Принцесса обладала изрядными познаниями в этой науке, у нее были превосходные теплицы со множеством тропических растений. Герцогиня пыталась всего лишь выйти из затруднительного положения, а в результате навеки завоевала симпатию принцессы Клары-Паолины, которая мало-помалу освободилась от робости и смущения, мучивших ее в начале приема, почувствовала себя так хорошо и свободно, что против всех правил этикета эта первая аудиенция длилась больше часа. На следующий день гер-

цогиня приказала купить всяких экзотических растений и стала уверять, что она большая любительница ботаники.

Принцесса проводила немало времени в обществе монсиньора Ландриани, архиепископа Пармского, человека ученого и даже умного, весьма честного, но представлявшего собою весьма странное зрелище, когда он сидел в кресле алого бархата (по праву своего сана) против кресла принцессы, окруженной фрейлинами и двумя *компаньонками*. Старик прелат с длинными седыми волосами был, пожалуй, еще застенчивей принцессы; они виделись каждый день, и всякий раз в начале аудиенции оба молчали добрых четверть часа. Одна из компаньенок, графиня Альвици, даже вошла в особую милость к принцессе за то, что умела заставить их нарушить это молчание и разговориться.

Церемония представления герцогини ко двору закончилась приемом у его высочества наследного принца, который ростом был выше отца, а застенчивостью превосходил мать. Ему было шестнадцать лет, и он увлекался минералогией. Увидев герцогиню, он густо покраснел, совсем растерялся и никак не мог придумать, о чем говорить с такой красивой дамой. Он был очень хорош собою и проводил жизнь в лесах с геологическим молотком в руке. Когда герцогиня встала, чтобы положить конец этой безмолвной аудиенции, наследный принц воскликнул:

– Боже мой, сударыня, как вы красивы!

И представленная ему дама не сочла это слишком большой бестактностью.

Маркиза Бальби, молодая двадцатипятилетняя женщина, за два-три года до приезда в Парму герцогини Сансеверина еще могла считаться образцом итальянской красоты. Даже и теперь у нее были дивные глаза и прелестные ужимки, но вблизи заметно было, что все ее лицо в мелких морщинках, и поэтому она казалась моложавой старушкой. Видя ее издали, например, в ложе театра, люди еще называли ее красавицей, и посетители партера находили, что у принца хороший вкус. Принц все вечера проводил у маркизы Бальби, но зачастую во весь вечер не раскрывал рта, и от горя, что он скучает в ее обществе, бедняжка совсем истаяла. Она притязала на необыкновенную тонкость ума и всегда улыбалась, зная, что у нее превосходные зубы, и желая к тому же показать лукавой улыбкой, что в ее словах таится какой-то особый смысл. Граф Моска уверял, что именно от этих непрерывных улыбок, скрывавших внутреннюю зевоту, у нее и появилось столько морщин. Бальби вмешивалась во все дела: казна не могла заключить договор даже на сумму в тысячу франков без того, чтобы маркиза не получила при этом сувенир (деликатный термин, изобретенный в Парме). Молва утверждала, что Бальби поместила в Англии шесть миллионов франков, но в действительности ее состояние, недавно сколоченное, пока доходило только до полутора миллионов. Чтобы оградить себя от ее хитростей и держать ее в зависимости, граф Моска стал министром финансов. Единственной страстью маркизы была противная скаредность, вызванная страхом. «Я умру на соломе», – говорила она иногда принцу, и его оскорбляли такие слова. Герцогиня заметила, что раззолоченная передняя во дворце Бальби освещена всего лишь одной сальной свечой, оплывавшей на драгоценный мраморный стол, а двери гостиной захватаны грязными пальцами лакеев.

– Она приняла меня так, словно ждала при том подачки в пятьдесят франков, – сказала герцогиня своему другу.

Успехи герцогини были несколько омрачены приемом, который ей оказала самая ловкая при дворе особа, знаменитая маркиза Раверси, заядлая интриганка, возглавлявшая партию, враждебную партии графа Моски. Она хотела свалить его, и это желание особенно возросло за последние месяцы: маркиза Раверси приходилась племянницей герцогу Сансеверина и боялась, что чары новой герцогини Сансеверина уменьшат ее виды на наследство.

– Таковую женщину, как Раверси, приходится побаиваться, – говорил граф своей подруге. – Я считаю ее способной на все, и даже с женой я разошелся только из-за того, что ей вздумалось взять себе в любовники кавалера Бентивольо, одного из приятелей Раверси.

Эта черноволосая, рослая и мужеподобная особа, густо нарумяненная и всегда с самого утра сверкавшая бриллиантами, заранее объявила себя врагом герцогини и, принимая ее в своем доме, сразу же постаралась начать войну. По письмам, приходившим из *** от герцога Сансеверина, ясно было, что он совершенно опьянен своим положением посла, а главное, надеждой получить наконец ленту через плечо, и его родня опасалась, как бы он в благодарность не оставил часть своего состояния жене, тем более что он уже теперь осыпал ее подарками. У Раверси, несмотря на ее уродливость, состоял в любовниках граф Бальди, первый красавец при дворе: ей вообще удавалось все, что она затевала.

Дом герцогини блистал роскошью. Дворец Сансеверина и раньше был одним из самых великолепных в Парме, а ввиду своего назначения на пост посла и надежды на орденскую ленту герцог тратил большие деньги на его отделку; герцогиня руководила работами.

Граф угадал: через несколько дней после представления ко двору герцогини там появилась и юная Клелия Конти; ее сделали канониссой. Чтобы отпарировать удар, который эта внезапная милость, казалось, нанесла влиянию графа, герцогиня дала бал, якобы желая показать обществу свой новый сад, и с присущей ей утонченной любезностью сделала царицей праздника Клелию, которую она называла своей юной подругой с озера Комо. Инициалы Клелии как будто случайно светились на главных транспарантах. Юная Клелия была несколько задумчива, но очень мило вспоминала о маленьком приключении близ озера и выразила горячую признательность герцогине. Говорили, что она очень набожна и любит уединение. «Держу пари, что она просто стыдится своего отца, – утверждал граф, – видно, что она умница». Герцогиня подружилась с этой девушкой. Она чувствовала к ней симпатию, не хотела показаться завистливой, а потому вовлекала ее во все свои развлечения; вообще она поставила своей целью смягчить ненависть, окружавшую графа.

Все улыбалось герцогине; придворный мирок, в котором всегда надо опасаться бури, забавлял ее, она как будто заново начинала жить. К графу она чувствовала нежную привязанность, а он был просто без ума от счастья. Благодаря такому приятному состоянию он проявлял полнейшее хладнокровие во всем, что касалось вопросов честолюбия; поэтому не прошло и двух месяцев со дня приезда герцогини, как он занял пост премьер-министра, с которым связаны почести, весьма близкие к тем, какие воздают самому государю. Граф имел непререкаемое влияние на своего повелителя; одно из доказательств этого поразило все умы в Парме.

На расстоянии десяти минут езды от города, к юго-востоку, вздымается пресловутая, столь известная в Италии крепость; ее огромная башня высотой в сто восемьдесят футов видна издали. Стены этой башни, воздвигнутой в начале XVI века герцогами Фарнезе, внуками Павла III, по образцу мавзолея Адриана в Риме, так массивны, что на верхней ее площадке даже построили дворец для коменданта крепости и новую тюрьму, названную башней Фарнезе. Тюрьма эта была сооружена для старшего сына Рануция – Эрнеста II, вступившего в любовную связь со своей мачехой, и славилась по всей стране своеобразной красотой. Герцогине захотелось осмотреть ее. В день, когда она посетила крепость, стояла палящая жара, но на верхушке башни, высоко над землей, веяло прохладой, и это так восхитило герцогиню, что она провела там несколько часов. Для нее с готовностью отперли все залы в башне Фарнезе.

На верхней площадке башни герцогиня встретила заключенного – беднягу либерала, которого вывели туда на получасовую прогулку, разрешавшуюся ему раз в три дня. По возвращении в Парму герцогиня, еще не научившись скрытности, необходимой при дворе самодержца, рассказала об этом заключенном, который поведал ей свою историю. Партия мар-

кизы Раверси подхватила неосторожные речи герцогини и усердно разглашала их, надеясь, что они вызовут неудовольствие принца. В самом деле, Эрнест IV часто повторял, что главная цель наказания – потрясти страхом воображение подданных.

– *Навеки* – это грозное слово, – говорил он, – а в Италии оно пугает еще больше, чем в других странах.

Поэтому сам он ни разу в жизни не даровал помилования. Однако через неделю после осмотра башни герцогиня получила указ о смягчении наказания, подписанный принцем и министром, но имя осужденного не было в нем проставлено. Узнику, имя которого она пожелала бы вписать, возвращалось все его имущество и дозволялось уехать в Америку, где он мог жить на свободе до конца своих дней. Герцогиня вписала в указ имя того либерала, который говорил с нею. К несчастью, он был полуподлецом, человеком слабодушным: как раз на основании его признаний приговорили к смертной казни знаменитого Ферранте Паллу.

Столь необычайное помилование безмерно возвысило престиж герцогини Сансеверина. Граф Моска не помнил себя от счастья; это была прекрасная пора в его жизни, имевшая решающее влияние на судьбу Фабрицио; юноша по-прежнему жил близ Новары, в Романьяно, бывал у исповеди, охотился, ничего не читал и, согласно полученной инструкции, ухаживал за дамой знатного рода. Эта последняя предосторожность немного раздражала герцогиню. Был и другой весьма неблагоприятный для графа признак: герцогиня, всегда и во всем откровенная со своим другом, даже высказывавшая при нем вслух свои мысли, никогда не говорила с ним о Фабрицио, не обдумав предварительно свои слова.

– Если желаете, – сказал ей однажды граф, – я напишу вашему любезному братцу, проживающему на берегу Комо, и заставлю достойного маркиза дель Донго просить о помиловании вашего славного племянника. Мне и моим друзьям из *** будет не очень трудно это устроить. Если Фабрицио – а я в том не сомневаюсь – стоит несколько выше молодых шалопаев, гарцующих на английских лошадях по улицам Милана, – что это за жизнь для восемнадцатилетнего юноши? Безделье, и впереди тоже вечное безделье! Если небо даровало ему истинную страсть к чему-либо, ну, хотя бы к рыболовству, я готов уважать эту страсть. А что он будет делать в Милане, даже получив помилование? Выпишет из Англии лошадь, будет ездить верхом в определенные часы, а в другие часы безделье толкнет его к любовнице, которую он будет любить меньше, чем свою лошадь... Но если вы прикажете, я постараюсь дать вашему племяннику возможность вести такую жизнь.

– Мне хочется, чтоб он был офицером.

– Кто же посоветовал бы монарху доверить пост, который в один прекрасный день может иметь известное значение, молодому человеку, во-первых, склонному к восторженным порывам, а во-вторых, уже проявившему пылкий энтузиазм в отношении Наполеона и сражавшемуся в его войсках под Ватерлоо? Подумайте, что стало бы со всеми нами, если б Наполеон одержал победу при Ватерлоо? Нам, правда, не пришлось бы бояться либералов, но монархи старых династий могли бы царствовать, только женившись на дочерях его маршалов. Итак, для Фабрицио военная карьера – это жизнь белки в колесе: много суетни и никакого продвижения. Ему обидно будет видеть, как его опережают верноподданные плебеи. В наше время, да еще, пожалуй, лет пятьдесят, пока монархи будут дрожать от страха и пока не восстановят религию, главное достоинство молодого человека – не знать восторженных порывов и не иметь ума. Я придумал один выход, но только он приведет вас на первых порах в негодование, а мне доставит множество хлопот, и не на один день!.. Это, в сущности, безумие, но я готов пойти на любое безумие ради одной вашей улыбки!

– А что это такое?

– Вот что. В Парме было три архиепископа из рода дель Донго: Асканьо дель Донго, рукоположенный в тысяча шестьсот... не помню точно когда; Фабрицио – в тысяча шестьсот девяносто девятом году и второй Асканьо – в тысяча семьсот сороковом году. Если Фаб-

рицио пожелает стать прелатом и выделится высокими добродетелями, я сделаю его где-нибудь епископом, а затем архиепископом Пармским, – разумеется, если не потеряю своего влияния. Главное препятствие вот в чем: останусь ли я министром достаточно долго, чтобы осуществить этот прекрасный план? Принц может умереть или по прихоти самодура уволит меня в отставку. Но в конце концов это единственная возможность сделать для Фабрицио что-нибудь достойное вас.

Поднялся долгий спор: этот план был совсем не по душе герцогине.

– Докажите мне, что всякая иная карьера невозможна для Фабрицио, – говорила она.

Граф доказал это.

– Вам жаль блестящего мундира, – добавил он, – но тут уж я бессилён.

Герцогиня попросила месяц на размышления, а затем, вздыхая, согласилась с разумными доводами министра.

– Гарцевать с чванным видом на английской лошади в каком-нибудь большом городе, – повторял граф, – или занять то положение, которое я предлагаю, вполне достойное такого знатного имени. Другого выхода я не вижу. К несчастью, дворянин не может быть ни врачом, ни адвокатом, а наш век – это век адвокатов.

Если вам угодно, – твердил граф, – вы можете дать своему племяннику возможность вести в Милане такой образ жизни, который доступен только самым богатым из его сверстников. Добившись его помилования, вы назначите ему содержание в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч франков, – для вас это не имеет значения: ни вы, ни я не собираемся копить деньги.

Герцогиня была чувствительна к славе и не хотела, чтобы Фабрицио был просто прожигателем жизни; она вернулась к плану, предложенному ее возлюбленным.

– Заметьте, – говорил ей граф, – что я не намерен сделать из Фабрицио примерного и заурядного священнослужителя. Нет, он прежде всего должен быть вельможей. При желании он может оставаться полным невеждой и все-таки станет епископом и архиепископом, если только принц по-прежнему будет считать меня полезным для себя. Соблаговолите приказать, – ваша воля для меня непреложный закон. Но Парма не должна видеть нашего любимца в малых чинах. Его быстрое возвышение возмутит людей, если он сперва будет здесь простым священником. В Парме он должен появиться не иначе, как в *фиолетовых чулках*¹⁶, и прибыть в подобающем экипаже. Тогда все догадаются, что вашему племяннику предстоит получить сан епископа, и никто не будет возмущаться. Послушайте меня, пошлите Фабрицио на три года в Неаполь изучать богословие; во время каникул в духовной академии пусть он, если захочет, съездит посмотреть Париж и Лондон, но в Парме ему пока нельзя появляться.

От этих слов герцогиня вся похолодела. Она немедленно послала курьера к племяннику и назначила ему свидание в Пьяченце. Излишне говорить, что курьер повез с собой внушительную сумму денег и необходимые разрешения.

Приехав в Пьяченцу первым, Фабрицио помчался навстречу герцогине. Он обнял ее с такой восторженной нежностью, что она залилась слезами. Она радовалась, что графа не было при этой встрече, – впервые за все время их любви у нее явилось такое чувство.

Фабрицио был глубоко тронут, но затем и огорчен, узнав о планах герцогини относительно его будущего: он все еще надеялся стать военным, когда история с его бегством в Ватерлоо уладится. Одно обстоятельство обрадовало герцогиню и упрочило ее романиче-

¹⁶ В Италии молодых людей с протекцией или богословским образованием величают *прелатами и монсиньорами* (что еще не значит – епископом), и они носят фиолетовые чулки. Чтобы стать монсиньором, не нужно принимать церковный сан, фиолетовые чулки можно снять и вступить в брак. – *Примеч. автора.*

ское представление о племяннике: он решительно отказался вести обычную жизнь навсегда в каком-нибудь большом городе Италии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.